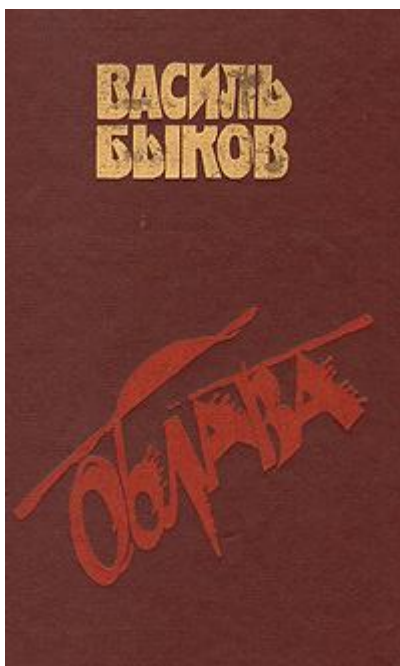


## Василь Быков Облава



«Василь Быков. Облава»: Дружба народов; Москва; 1991  
ISBN 5-285-00035-1

### Аннотация

*Повесть "Облава" рассказывает о судьбе честного труженика Хведора Ровбы, без вины виноватого, раздавленного колесом тоталитарного режима.*

## Василь Быков Облава

### Повесть

### Глава первая ЧЕЛОВЕК НА ОКОЛИЦЕ

Приречная луговая пойма с разбросанными по ней широкими кустами лозняка дружно зеленела поздней осенней отавой. После недавних дождей окрестные болота разлились, до краев наполнив обычно неглубокую летом речушку, и подтопили пойму, которая по болотному вспучилась мягким молодым мхом. Мох податливо оседал под ногами, выдавливая на поверхность мутную жижу, но не проваливался, трясины здесь не было. Это сейчас, осенью, пойма обильно сочилась влагой, летом же, в сенокосную пору, здесь было сухо, вольно ходили косари, ездили возы с сеном. Следы от колес и лошадиных копыт в свежей траве еще и теперь слабо поблескивали черной водой. Вода была всюду. словно щелок, она разъедала кожу постолов, насквозь промочила портянки. Надо бы присесть, переобуться, но человек, казалось, не обращая внимания на мокрядь и бездорожье, упрямо пробирался по заболоченной пойме.

Осенний день был на исходе, вокруг стояла ветреная тишь, никого живого поблизости не было. Люди работали в поле, убирали картошку, наверно, до далекой поймы никому не было дела. Человек вроде знал это и все же был беспокоен, почти встревожен. Торопливая походка его казалась неестественно напряженной; давняя застарелая тревога сквозила в цепком, настороженном взгляде, привычно таилась в угрюмом выражении немолодого, заросшего серой щетиной лица. Рот полуоткрыт – от усталости или постоянного напряжения, из-под вислых усов выглядывали два нижних зуба, верхних совсем видно не было. Человек часто и хрипло дышал – наверно, нелегко далась ему эта ходьба по болоту. Одет он был в порыжевший от старости, самотканый армячок с заплатой у воротника; на тощем животе кособоко держался узкий, с болтающимся концом ремешок. Глубоко натянутая на голову черная кепка давно потеряла форму – наверно, служила не первый год. Как и портки. В больших и малых заплатках, они казались совсем ветхими, чего нельзя было сказать о постолах. Хотя и раскисшие от воды, но скроенные из прочной сыромятной кожи, стянутые на щиколотках новыми веревочными оборами, они ловко обхватывали снизу и мокрые штанины портков. Никакой ноши, сумки или узла у человека не было, свободные руки настороженно согнуты в локтях, будто наизготовку. Нетрудно было догадаться, что человек давно шел один, свyksя со своим одиночеством и старательно избегал людей. Люди для него представляли наибольшую опасность в поле, в деревнях, на дорогах, и он выбирал путь окольный – перелесками, нолем, а еще лучше лесом. За время своего одиночества он почти отвык от звуков человеческого голоса, сам все время молчал, до боли в голове думал, то и дело торопливо озирая окрестное. Слух его стал таким чутким, что он легко различал шорох птицы в ветвях, за версту ловил стук колес на дороге, негромкие детские голоса в отдалении указывали ему место, где пасется деревенское стадо. Стада он не боялся. Раз три добывал у подпасков пищу – хлеб или картошку, однажды разжился кусочком сала у девочек, пасших коров возле леса, выйдя из кустарника, сперва поинтересовался, какая деревня рядом и как зовут девочек, а потом попросил хлеба. Девочки – заметно было – испугались, но та, что постарше, вынула из кармана большой, болтавшейся на ней свитки кусок хлеба с салом и молча протянула ему. Он взял кусок, отошел и, хотя оголодал, как мартовский волк, не сразу принялся есть – так тронул его испуганный взгляд девочки, неожиданно напомнивший ему Олю. Он забрался в хвойную чашу и заплакал – может, впервые с того дня, как похоронил дочку. Не суждено было ей увидеть родную землю, прибрал Бог на чужой стороне. А отец – увидал.

Сенокосные уголья с лозняком и речушкой сворачивали в сторону, впереди, над пойменным мелколесьем, зазеленела хвойная рощица на пригорке, и Хведор замедлил шаг, пораженный неожиданно открывшимся видом. На пригорке высилась видная издалека купа старых высоких сосен, внизу под ней пролегал большак, которым он много раз ездил на станцию, в местечко – за покупками, на базар, когда вывозил продналог или хлопотал по начальству. Все те хлопоты оказались пустыми, налоги пришлось выплатить полностью, пока не обложили твердым. На твердом его возможности кончились...

Пригорок, кажется, не изменился за последние годы, свежая зелень сосен нарядно выделялась из серого осеннего мелколесья. Сосны будто слали ему привет из того печального дня, когда он прощался с ними на дороге на станцию. Очень хотелось Хведору свернуть к знакомому пригорку, может, взобраться на его крутизну, вдохнуть смолистый аромат хвои, потрогать руками шершавые комли сосен. Но он не пошел. Близко было и желанно, но... Впереди ждали его и другие знакомые места, а там, за пригорком, на большаке, могли встретиться люди. Свои, знакомые, деревенские. Встречи со своими он теперь опасался больше всего.

Да, вот так обернулась жизнь – распроклятая его судьба вырвала его из родных мест, бросила в другие, никогда прежде не слыханные места. Дважды за последний год пускался оттуда в бега – по-дурному, без малейшего шанса на удачу. Но вот – повезло, и как раз в тот момент, когда надежда, казалось, навсегда покинула его и он готов был примириться с неволей. Неужели и в самом деле он скоро увидит свой родной угол, бывшее свое поле,

деревенские крыши Недолица с его малоурожайными землями, болотистым выгоном, непролазным ольшаником возле речки? Здесь он родился, тут прошли его молодые годы и будущее вспыхнуло сладкой в такой обманчивой надеждой...

Надо было обойти пригорок, узкой, заросшей кустарником ложбинкой проскочить на ту сторону большака; на этой стороне, вдоль речки, начиналось залитое водой болото, по которому сейчас не пройдешь. Здесь он хорошо знал местность, не надо было спрашивать дорогу. Он и прежде редко у кого о ней спрашивал, разве что у ребят-подпасков в поле, однажды остановил тетку, она несла хворост в село. И никогда – у мужчин или молодых парней, которые, знал он, могли его задержать и сдать в милицию. На молодых надежды у него не было. Молодые теперь сплошь комсомольцы, воспитанные в ненависти и подозрении к любому чужому и незнакомому. А к такому знакомому, как он – тем более.

Большак он перебежал удачно, никем не замеченный, и, скрываясь в кустах ольшаника, вышел к сосновой опушке. Это был край большого Казенного леса, в котором сельскому люду когда-то выделяли деревья для постройки жилья. Он и сам пилил здесь сосны на хату, когда после революции строился на своем наделе, полученном от сельсовета,- двенадцать десятин земли.

Распределяли по две десятины на душу, а у него к тому времени было уже шестеро душ: он с женой Ганной, двое стариков, сын Миколка да родившаяся в тот год малая Олечка. И он, батрак, потомственный малоземелен в одно весеннее утро стал владельцем пахотного участка, счастливо доставшегося ему на панском поле у леса. Душа пела от счастья, белый свет казался солнечным раем. Построил хату, гумно, хлева, обзавелся скотиной. Порой было до чертиков трудно, думал, протянет ноги от работы. Но был молодой, сильный ж выжил, а потом и вовсе зажил неплохо.

Где-то в той стороне леса среди зарослей подлеска пряталась старая стежка, но он не стал ее искать, дошел напрямик. Усталый, голодный, с мокрыми ногами, он не мог одолеть в себе лихорадочного нетерпения и, не очень разбирая дороги, упрямо стремился вперед. Временами почти забывая об осторожности, шумно продирался сквозь подрост и кустарник, бежал, сминая постолами трескучий хвойный валежник. Миновал неширокую рощицу березняка среди сосен и выбрался на почти чистую, усыпанную старыми пнями делянку. Кажется, это была та самая делянка, на которой он с шурином Томашем пилил зимой бревна для хаты. Подросток Миколка жег рядом костерок и помогал обсекать сучья. Но теперь его мало интересовала делянка, близость желанной цели захватила его целиком.

Последние сотни метров он бежал по какой-то полужаросшей лесной тропе – идти спокойно уже не доставало сил, все в нем напряглось от нетерпения. Вот-вот должна была показаться опушка, с которой он увидит поле и свою осиротевшую усадьбу. Он понимал, что усадьба теперь вряд ли пустует, кто-то занял ее, может, даже кто из деревенских, знакомых ему. Но главное – скорее бы увидеть ее крышу из дранки с красным кирпичным дымоходом, соломенные стрехи сараев, палисадник под окнами, когда-то полный ярких осенних георгинов, яблони в саду над прудом. Прививал еще совсем малые, тонкие деревца – теперь, наверно, стоят уже с яблоками...

Он выбрался на опушку возле старой груши-дуплянки, которую помнил с детства, смятая трава под нею пестрела россыпью опавших плодов. Видно, никто их не собирал здесь, и они гнили на земле, во множестве белея на дереве среди поредевшей листвы. Отсюда, с опушки, уже хорошо стало видно широкое пространство вспаханного под зябь поля. Хведор медленно пошел вдоль края леса, все вглядываясь в пространство поля, где чуть дальше лежал и его осиротевший надел. Скоро в отдалении появились и крайние хаты Недолита, крыши сараев, сады и опускавшиеся к выгону шнуры огородов. На крайнем из них, согнувшись, ковырялась в земле женщина в красном платке – наверно, кто-то из Антосевых баб копал картошку. Но где же его усадьба? Где хата, гумно, дворовые постройки? На равнинной, слегка покатоной от леса пашне со слабенькой зеленью озими шевелилось на ветру несколько плодовых деревцев, и ни одного строения не было рядом. Повсюду простиралось голое поле – от леса до самого пруда внизу.

Загребая постолами в пересошем бурьяне, Хведор брел по опушке. Силы его быстро убывали, шаг делался тяжелее, он остановился, постоял и обессиленно опустился наземь.

Ну вот и добрел. Дошел, добежал, дотянулся за три месяца невероятного нуги, мук и терпенья... Да и на что было надеяться? Чего он хотел? На что рассчитывал? Прежде всего – увидеть. Ну вот и увидел,... Разве здесь его ждали? Разве обязан был кто-то беречь его брошенную усадьбу? Перевезли в другое место, наверно, и давно уже служит добрым людям – детям да старикам. И уж наверняка посчастливей они, чем он. А земля?... Земля все так же и даже весело зеленеет озимью. Кажется, вроде и неплохая озимь. Только на том конце, У пруда, потемнела от влаги. Но там и у него всегда вымокала. Он старался сажать там картошку и лишь два раза посеял коноплю. Зерновые же у пруда не родили. Новые хозяева, наверно, не зная об этом, посеяли рожь.

Он долго сидел, подавленный и вконец обессиленный, уныло вглядываясь в поле и деревню, которых не видел целую вечность. Они снились ему каждую ночь, оставаясь в недостижимой дали. И вот они рядом – рукой подать. Вокруг неспешно сгущались ранние сумерки, из леса плыл густой хвойный шум, вверху куда-то летели растерзанные ветром дождевые облака. В поле и поблизости от деревни никого нигде не было; присутствие людей неясно ощущалось в деревне – на огородах, во дворах, за плетнями и заборами. Из-за крайних хат на дороге появилась телега с парнишкой – он стоя, нахлестывая кнутом, погонял гнедую лошаденку, с замирающим вдали стуком телега скрылась в лошине. Хведор уже и не надеялся узнать парнишку, хотя когда-то знал здесь каждого старого и малого. Но за минувшие годы старики, наверно, ушли на тот свет, повзростали дети, узнать мудрено, особенно издали. Но не приведи Бог, если узнают его. Или хотя бы заметят в поле. Спohхвaтившись, что он на виду у деревни, Хведор сполз пониже в бурьян. Возбуждение стало понемногу спадать, он спокойнее уже оглядывал знакомое поле – озимые всходы, редкие одинокие деревца в тех местах, где проходили когда-то межи, кустарник в низинке возле болотца. В дальнем конце деревни возвышался пригорок с небольшой сосновой рощицей, что-то там тускло белело под соснами. Это было старинное деревенское кладбище со всей родней Хведора – дедами и прадедами, весь его род. Как и многие деревенские семьи, отошли, отмучившись на этой земле. Завидная все же доля, подумал Хведор: после смерти остаться со своими в родной земле, А его страдальца Гануля легла в промерзлое болото за тысячу верст отсюда, под студеным Котласом. Кому и когда могла привидеться эта доля? Они и не слышали прежде такого чудного названия, а оно стало для Ганули судьбой. Да и для него тоже...

Хведор все сидел на заросшей кустарником опушке, вглядываясь в вечернюю даль. Начали зябнуть мокрые ноги, да и самому становилось зябко – под вечер заметно похолодало, В деревне же своим чередом шла обычная сельская жизнь. Люди вернулись с поля, ходили за скотом, занимались обычными делами по дому. На тропинке, ведущей к колодцу, появилась баба с коромыслом, набрала воды, пооглядывалась, постояла и, тяжело ступая, понесла воду к хлевам. В хатах затопили печи, в ветер понес над стрехами рваное ключье дыма. Хведор жадно глядел на окрестные поля, деревню, но больше всего его тянуло на место, где некогда был его хутор. Казалось, возле уцелевших яблонь сохранился какой-то неясный след от построек, не все уничтожено. Видны были темные заросли бурьяна, что-то громоздилось там – на месте фундамента, что ли? Надо бы подойти поближе, посмотреть, ступить на землю, когда-то сулившую ему столько радости и давшую одно горе. Но было еще светло, надо бы подождать, и он терпеливо ждал. Когда деревенские хаты затянуло вечерним сумраком и уже мало что можно было увидеть в поле, он поднялся и, пошатываясь, побрел вниз, к деревцам.

Как он и думал, хуторское подворье не было запахано, нетронутым остался двор, уцелели фундаменты, на прежних местах лежали угловые камни амбара. Амбарные камни были огромные, особенно один, лежавший под нижним углом строения. Его привезли из Гораней, вдвоем с Томашем они едва вкатили его на телегу. Этот камень и теперь гладким боком выглядывал из крапивы. Фундамент под хатой местами выкрошился, оброс бурьяном;

крыльца уже не было – наверно, вместе с хатой перевезли на новое место. Там, где когда-то стояла печь, громоздилась поросшая полынью куча кирпичей – это было все, что от нее осталось. Оно и понятно: печной кирпич был никудышный, плохого обжига, в ту осень лучшего не нашлось, на кирпичном заводе не хватало топлива, и Хведору сказали, что для печи сгодится. Он и сгодился, печь простояла лет восемь, пришлось только переложить дымоход, для которого он прикупил в местечке сотню кирпичей давней, царских времен, формовки. Горько ему было сейчас бродить по развалившемуся подворью, душа обливалась кровавыми слезами. Единственно, что порадовало его, был молодой садик, деревца которого уже вошли в самую силу и теперь беззаботно трепетали листвой на ветру. Три антоновки он привил на третьем году своей хуторской жизни, годом позже – две грушки. Черенки добывал в Фаринове у одного учителя на станции. Первый привой, однако, не удался, осенью прививал снова. Он обошел деревца, ощупал их плотные, крепкие стволы, будто поздоровался с каждым. Уже стемнело, и ему захотелось попробовать яблоки – может, что-нибудь осталось на ветках? Повглядывался в темную листву, потрогал нижние ветки, слегка потряхнул крайнюю антоновку. Нет, нигде ничего не шевельнулось, не упало наземь. Или весь урожай уже сняли?... Хведор увидел на антоновке обвисший, сломанный сук, другой лежал в траве под ногами, и он понял, что яблок здесь давно уже не было. Да и как им тут быть, в этом саду среди голого поля, брошенном без хозяйского глаза. Яблони, как и цветы, без человеческой ласки расти не будут.

Хведор обошел подворье. На месте когда-то вырытого им колодца зияла черная, обросшая крапивой яма, от сруба и ворота не осталось и следа. Там, где была дровоколья, валялось в траве несколько палок, но дров уже не было. Постоял на куче битого кирпича в бурьяне, вспоминая, как когда-то грелся здесь на печи, приехав зимой из лесу или осенью с поля, как спали тут старики, а иногда грелась его Гануля. Хотя бедняга Ганулька грелась тут редко – больше хлопотала по хозяйству, старалась накормить немалую тогда семью, таскала тяжелые горшки с кормом скоту. Гануля не имела минуты обогреться дома и никогда уже не обогрется в мерзлой земле, на краю заболоченного кладбища. Болела недолго. Перед тем как слечь, с осени работала на лесоповале, где с бригадой таких, как она, переселенок собирала и сжигала сучье. Правда, нездоровилось ей давно, с Покрова, зимой по ночам сильно кашляла, жаловалась на боли в боку. Но к докторам не шла – докторов она побаивалась, как и начальства, стараясь лишний раз не попадаться им на глаза. Потом ей вроде полегчало от заговора Банадысихи, старой ворчливой женщины, высланной откуда-то из-под Орши. Но полегчало ненадолго. В чистый четверг, притащившись с делянки, Ганулька слегла, чтобы уже не подняться. Ухаживать за ней Хведор не мог, самого ежедневно гоняли на трелевку, готовились к весеннему сплаву, надо было создать немалый задел древесины. Начальник участка не давал дыхания перевести, и бригады работали в лесу от зари до вечерних сумерек. Скрепя сердце он оставил жену на Олечку, которая целыми днями то плакала, то тоненьким детским голоском пела матери ее любимую «Уточку». Наверно, так и ушла с этого света Ганулька под жалобный напев дочки. Когда он вечером притащился в барак, притихшая Олечка сказала: «Мама спит». Он кинулся к нарам, где лежала Ганулька, тормошил, звал, но тщетно – Гануля была уже мертвой. Они заплакали разом: Оля во весь голос, безутешно и горестно, он молча давился слезами.

Назавтра его освободили от работы. Не скрывая раздражения, нарядчик сказал: на полдня. За эти полдня следовало вырыть могилу, сбить какой-нибудь гроб, отвезти на кладбище за поселком. Кладбище было новое – недавно отведенный под захоронения участок лоцины, хотя крестов там уже стояло немало. Спецпереселенцы вымирили дружно, особенно те, кто постарше, – не приживались на этой дикой, холодной земле. Впрочем, мерли и молодые – с голоду, от непосильной работы и чахотки, которая валила даже сильных, молодых мужиков. Говорили люди, что мрут от болезней, но больше от тоски по родным местам, от мысли о вечной с ними разлуке. Оно, может, и правда.

Как раз приближалась весна, на пригорках начинал таять снег, хотя в низине за поселком еще лежал толстым, затвердевшим настом.

Хведор не меньше часа скреб его лопатой, потом долбил кайлом мерзлую землю. Выкопал неглубокую, до пояса, могилку, копать глубже не было ни сил, ни времени – он очень боялся опоздать, не успеть до полудня. Потом, бросив лопату и кайло, побежал сколачивать гроб. Столярничать он умел, руки сызмала были приучены к нехитрому столярному инструменту, но нужны были доски. Завхоз, к которому он сунулся в конторскую пристройку, долго и молча копался в бумагах, у порога молчал Хведор, терпеливо дожидаясь ответа. Наконец завхоз встал, неторопливо закурил и очень нехотя подался на задворки, где были сложены доски. Там их, засыпанных снегом, было несколько штабелей – толстых и тонких, двадцаток и сороковок, всякого другого пиловочника. Но этот мрачный человек, кивнув в сторону торчавших из снега горбылей, процедил сквозь зубы: «Тащи вон. Пять штук, не больше». Разгребая ногами снег, Хведор вытащил пять штук сучковатых неошкуренных горбылей и, сжав зубы, отволол их к барачу, где принялся сколачивать гроб. Плакать хотелось от обиды, глядя на этот гроб, в котором суждено было его Ганульке найти свое последнее успокоение, но что он мог сделать... Что он вообще мог в каторжной неволе?

Хоронили вдвоем с Банадысихой, больше с работы никого не отпустили. Кое-как втащили промерзший гроб на водовозные сани, Банадысиха с Олечкой примостились сбоку, измученный и обессиленный, он тащил за узду старую подслеповатую кобылу. Благо везти было недалеко. Банадысиха на санях тихо бормотала молитву, а Хведор с тоской в душе думал, что надо поторопиться и ему. Жить так, как они жили тут, стало невозможно, лучше умереть. И он, пожалуй, умер бы, если бы не Оля. Девочке шел десятый годок, была она не по-детски умненькая (в кого только удалась?), серьезная, никогда не улыбнется, бывало, все глядит и глядит широко раскрытыми глазами, будто ожидает чего, И он думал, может, хоть она дождетя чего-нибудь лучшего. Очень хотел, чтобы дождалась. Да не сбылось – видно, не суждена была и Олечке лучшая доля...

Но что делать теперь, он не мог придумать. Он сбился с толку в этот ветреный вечер на пустом подворье и стоял, позабыв вдруг все, чего раньше желал. Главное – потерял цель, которая вела его долгие недели через все препятствия и невзгоды в родные места, к своему дому. Что его ждет здесь, он об этом, пожалуй, не думал, главным было – дойти, доползти, чтоб хоть одним глазом взглянуть на эти места, а там можно и умереть. Умереть тут, найти вечный покой в родной стороне было бы для него счастьем, о котором он мог только мечтать...

Но как быть, пока жив, куда податься? Пойти в деревню он не решался: навлечешь беду на людей, да и сам боялся милиции. Пока никто из деревенских его не заметил, он на свободе, она оставалась единственной его целью. А если заметят, узнают, тогда для него все и кончится и снова настанет то, что хуже погибели. Так пускай лучше смерть. Теперь уже на родной стороне.

Уже совсем стемнело, подул холодный ветер, и Хведор озяб: дрожь то и дело сотрясала его. Укрыться же здесь было негде. Хоть бы оставили какую сараюшку или навесик. Хотя бы конуру, где жил Лобатик, ласковый щенок, которого он незадолго до высылки принес на хутор. Так нет, не оставили ничего, сплошь пустырь и разор. Но я идти отсюда ему было некуда, и он не уходил. Долго неприкаянно слонялся по чертополоху, оглядывая темные заросли репья и крапивы. Взобрался на печище, постоял и сел на кирпичную кучу – стоять уже не было сил, болели ноги. Сидел думал. Про былые годы и былые заботы. Про свои глупые несбывшиеся мечты. О Гануле. Вспомнил, как, закладывая сруб хаты, в красный угол положили они царский рубль и повязь – ее и его вместе связанные лоскуты одежды. На богатство и чтоб жили в согласии, не ссорились и не разлучались. Оно так и вышло – не разлучались до самой ее смерти. Хорошая была женщина, тихая и работящая. Хведор не помнил случая, чтобы они хоть раз всерьез поссорились, Хотя в жизни хватало всякого, больше трудного и плохого. Но разве их вина? Такая выпала жизнь. Большею частью дразнила счастьем, а вдоволь наделила работой, тревогами и бедой. Думал: пусть, они выдержат все, но, может, детям будет полегче. Все же заимели землю, больше батраками не

будут. И правда, сынок Миколка еще подростком впрягся в работу плечо в плечо с батькой. Был он плотный, широкий в кости, мосластый парень, упрямый характером, но незлобивый. Любо было глядеть, как он гнал борозду новеньким синим плугом или на сенокосе шел в ряду взрослых мужиков. Но понемногу как-то стал отдаляться от хозяйства, сперва в юколе, затем – как вступил в комсомол. В деревне начались сходки, митинги, споры. Организовали ячейку и назначили его секретарем. Стало не до хозяйства... Впрочем, отец не перечил, думал: пускай, авось выйдет в люди, займет свой хлеб, а уж он как-нибудь перебьется и без помощника. Конечно, на тугоре легче не стало. Особенно когда сын перебрался в район и совсем забыл дорогу в Недолище.

Миколка, понятно, парень разумный, грамотный, не ровня батьке. А то, что он отошел от хозяйства, может, и к лучшему. В этом, наверно, его спасение – иначе где бы он оказался теперь? В Котласе или еще дальше? А так поставили начальником, почет и уважение. Никому Хведор не писал из ссылки, а шурина Томашу как-то дослал письмо, когда еще жива была Ганулька, и через полгода получил ответ, Томаш не сообщал, как живет, какие порядки в районе, немного написал о здоровье, а в конце приписал самую, может, важную весть: Миколка вернулся из Красной Армии и сейчас большой начальник в районе. Ганулька впервые за последние годы счастливо заулыбалась, на миг просияло печальное лицо Оли, а он нахмурился. И рад был, и точило беспокойство. Шуточки: сын раскулаченного пролез в начальники. А если дознаются?

Хведор ночи напролет думал о сыне-начальнике и его должности, тревожился и переживал. Но Сталин сказал, сын за отца не отвечает. Эти слова он прочел в газете, не раз слышал их от людей. Должно быть, Сталин говорил правду. Если Миколку поставили в районе начальником, значит, должны были знать, где его родители, из какой он семьи. А может, разобрались, что раскулачили неправильно, незаслуженно, потому и сын ни при чем. Тем более что он давно уже не жил с родителями, не хозяйствовал на отцовской земле, работал в райкоме, потом служил в Красной Армии, даже был командиром. За что же ему отвечать?

И все же Хведор ни разу не написал сыну, не мог побороть в себе страха и неуверенности, хотя Ганулька очень просила написать, даже расплакалась однажды. Он боялся – не за себя, конечно, за сына. Думал, если опасности совсем нет, Миколка напишет сам. Томаш писал, что видел его в райцентре, сын мог бы спросить у Томаша адрес ссыльных родителей. А если не пишет, значит... Значит, что-то не так.

И все же он не хотел думать плохого, он надеялся. И когда задумал этот побег, и прежде того, до побега. И в страшной дороге – на плотках, на железнодорожных платформах среди штабелей леса, в долгих скитаниях по лесам и проселкам. Днем и ночью он думал, сомневался, но так ничего и не надумал. Он не знал, как ему отнестись к сыну, а главное – как сын отнесется к отцу.

Правда, если Миколка большой начальник, то, наверно, что-то же может... Начальнику многое позволено. Бывает, простому человеку нельзя, а начальству не запрещается – это Хведор знал хорошо. Насмотрелся и в царское время, и в армии, и при новой власти тоже.

Над полями и лесом полновластно хозяйничала осенняя ночь; без остатка потонул во мраке, притихла вдали деревня. Поначалу где-то поблескивала пара огоньков, вроде на том конце улицы, да и они погасли. И Хведор поднялся на ноги. Неожиданно для себя он вдруг решил пройти по ночной улице, взглянуть на знакомые хаты, на колхозную контору, возле которой когда-то возвышалась над дорогой широкая арка с выцветшим кумачовым лозунгом. Тут всюду жили знакомые люди, старые и помоложе, охочие до работы и не очень, добрые, злые, безразличные,- бывшие его односельчане. Он никого из них не видел с того мартовского утра, как выехал на санях аз усадьбы и все оглядывался – до самого оврага, когда уже ничего не стало видать. И ему вслед глядели и плакали деревенские бабы, собравшиеся под суковатой вербой возле Савчиковой хаты.

Прежней дорожки от усадьбы до улицы, кажется, уже не было, заросла травой, и он пошел напрямик, пока не выбрался на дорогу, В привычном месте с грязноватого, разбитого

проселка спустился в овражек с ветхим мостком на дне. Как и много лет назад, мосток еле держался и, бывало, сильно грохотал под колесами телег и бричек. Почти сразу за овражком начиналась улица. Старая верба будто усохла даже, но по-прежнему клонилась над дорогой, и за ней чернела во мраке такая же старая Савчикова хата. Живет ли там Савчик, Хведор не знал, за все пять лет его ссылки никто не написал ему из этой деревни, да и он не писал никому, ничего ни о ком не знал. А с Лёксом Савчиком когда-то учились в церковно-приходской школе в одном классе, потом вместе призывались в солдаты. Был Лёкса спокойный, рассудительный мужик, горемычный бедняк, наверно, как и все тут в деревне, растил пятерых дочек. Где он теперь?

Улица лежала по-ночному черная и пустая, посередине мягкий, истоптанный скотиной песок, у оград заросли репейника. Хведор обошел кучу новых бревен у Авдотьиного подворья, уж не строится ли вдова? Хотя почему вдова? Наверно же, подросли сыны, может, и женился который, вот и строится. Тихонько прошел мимо палисадника Зыркаша, о нем теперь не хотел и думать. Искалечил этот Зыркаш ему жизнь (да и не только ему), завистливый был человек и недобрый. Когда-то настроил в район жалобу по поводу Хведоровой молотилки, с которой все и началось. Если бы не та его жалоба, может, все бы обошлось и не рыскал бы теперь Хведор в ночи, как вор, жил бы вместе со всеми, и не испытал бы тех бед, которые так щедро отмерила ему злосчастная его судьба.

За подворьем Зыркаша остановился, постоял возле изгороди, вслушиваясь, не подаст ли где голос собака. Но собаки пока молчали, или, может, их вовсе не было в деревне. Здесь особо-то они не водились и прежде, разве что на хуторах да в местечке. Деревенские же по своей бедности предпочитали завести лишнего поросенка. Должно быть, и теперь так же. Видно, не разбогатели его земляки. За редким вишенником вросла в землю убогая халупа с голыми ребрами стропил на крыше. Судя по всему, нежилая. Но где же тогда многодетная семья Ивана Погорельца из этой хаты? И еще одну постройку с черными провалами пустых окон разглядел он за тыном – тоже, наверно, покинутое жилье. Соседняя с ней хата уютной завалинкой подалась на самую улицу, здесь некогда любили посидеть мужики, посудачить на досуге о житье-бытье. Теперь эту скособоченную стену подпирали ряд кольев – чтоб не упала. Тут некогда жил самый горластый активист комбеда, худой и длинный, как жердь, Цыпруков Змитер. Уж он-то наверняка выслужил у советской власти получше жилье – был самый бедный. Да, видно, не выслужил, если дожил до такой вот кольями подпертой халупы.

Хведор наступил на свежие коровьи лепехи и подался в сторону, ближе к репьям. Все же он боялся: не наткнуться бы на что, не услышал бы кто, как крадется он улицей. Но в потемках поблизости никого вроде не было, видно, вся деревня уснула. Только за бревенчатыми стенами хлевов сонно вздыхали коровы да на той стороне улицы тихо стукнула дверь – кто-то вышел по нужде ненадолго.

Тихо ступая по мягкой земле, Хведор миновал крайние хаты улицы и очутился у кладбища. Как всегда, тут царили тишь и покой, могучие сосны печально шумели в вышине. За штакетником низкой ограды тускло светилось в темноте несколько новых крестов – больших и низеньких, детских. Он немного постоял у оградки и, найдя проход, с дрогнувшим сердцем ступил в это темное поселение мертвых. От прохода короткая дорожка вела на пригорок под сосны, где хоронили издавна и где он помнил каждую могилу. Первыми в ряду поднимались над всеми дубовые кресты Шуляков – отца и трех сыновей, род их был, может, самый старый в Недолице. Рассказывали, что самый первый Шуляк пришел сюда с литовской земли и осел в имении, женившись на горничной здешней барыни. Все произошло неожиданно: однажды он распрягал лошадей, а из-за угла на горничную бросился бык, наверно, ее красный платок разозлил его. Кучер Шуляк храбро преградил быку путь, видно, тогда он и заметил служанку. Ее госпожа, единственная дочь у родителей, уговорила отца отдать три крепостные семьи за одного кучера, чтоб только не разлучаться с любимой горничной. Поженившись, кучер и горничная долго жили в имении, нажили шестерых сыновей, трое из которых второе столетие лежали под смолистыми



комлями кладбищенских сосен. Напротив и пониже высилась металлическая беседка с красивыми, чугунного литья столбиками, их обвивали литые виноградные ветки. Там лежала мраморная плита на могиле молодого пана поручика, тяжело раненного на войне с германцами и скончавшегося в своем имении. Теперь, конечно, никого из панов не осталось, заброшенная могила заросла бурьяном; в проржавевшей беседке иногда резвились деревенские озорники, укрывались от дождя прохожие. По другую сторону от этой могилы, меж двух разлапистых сосен, был небольшой участок, где покоился крестьянский род Ровбов: деда, отец с матерью, младшая сестра Текля, двое младенцев, умерших перед войной от дифтерита. Крайней была могилка его младшего брата Прокопа, доброго, ласкового мужика, который так и не успел жениться и никого не оставил после себя. Он умер от тифа в восемнадцатом, когда Хведор был в германском плену. Уйдя на войну в четырнадцатом, братья больше не встретились. Было бы славно и ему примоститься рядом, места вроде хватало. В крайнем случае можно было потеснить соседнюю могилу, лежащий в ней не обидится. Может, не признаваясь себе, Хведор ради этого больше всего и стремился сюда, за тысячу километров, после пяти лет изгнания.

Неторопливо и почти без опаски он обошел в темноте могилки родных – четыре рядышком и две чуть пониже – на пологом склоне пригорка, прикоснулся к их шершавым, обомшелым крестам. Боялся, что рядом окажется новый, незнакомый крест. Но в этом месте новых могил вроде не было. Хотя, конечно, могли похоронить и подальше, место есть. Теперь не прежние времена – хоронят где придется, вместе с чужими, да и в чужой земле тоже. Как его Ганулю. Или Олечку. В который раз он почувствовал горький укор, что в спешке так неудачно похоронил дочку – ни оградки, ни даже креста не поставил. Не из чего было, и очень спешил: его поджидали плотогоны, и он верст пять догонял их по берегу.

Он сидел на чьей-то старой, без креста, но аккуратно обложенной камнями могиле, слушал шепот гигантских суковатых сосен, думал. Тяжело навалилась многодневная, застарелая усталость. Чтобы не свалиться от бессилья, надо было встать и идти. Но куда? В хату ни к кому не попросишься, а в сарае найдут поутру. Оставаться же здесь нельзя: на рассвете его сразу обнаружат. Значит, опять – в лес. Лес всегда с молчаливой готовностью принимал его. Тем более примет знакомый с детства Казенный лес. Выручит и теперь, бездомного не откажет...

## **Глава вторая НОЧЬ И ПОКОЙ**

Должно быть, он недалеко отошел от опушки. Среди деревьев и частого подлеска было вроде тише, даже теплее будто, он забрался в густую чащобу и упал в жесткие, измятые стебли папоротника. Больше не было сил – ни идти, ни ползти. Перед тем как уснуть, забыться, вспомнил, что за этот день протопал, считай, верст сорок – от утренней зорьки до ночи. Больше ему не пройти и сорока шагов.

Проснулся, заочневши от стужи, ноги одеревенели до колен, голова тяжелая, будто с похмелья. Не сразу понял, где он; сперва показалось – на торфяниках под Котласом и что опоздал на работу. Но, разлепив глаза, сообразил: Котлас далеко. Он – дома. В утреннем лесу, у себя на родине. Эта мысль придала ему бодрости, он поднялся на колени и стал согреваться – внутренним усилием преодолевая стужу, как делал это не раз на чужой стороне. На севере мерз почти каждое утро. Правда, там не было времени согреться, там он едва успевал собраться, чтоб не опоздать на развод – в тайгу на лесоповал или на торфоразработки. Там были строгие десятники, крикливые бригадиры, не дай бог припоздниться – голодным останешься на весь день, а то еще побьют и запрут в каталажку.

Тело помаленьку согревалось, а затекшие ноги по-прежнему стыли, впрочем, ноги согреются при ходьбе. Он понимал, что надо идти, днем тут оставаться нельзя. Рядом деревня, в лес скоро пригонят стадо, его могут заметить. Да, скот здесь хорошо походил – Хведор увидел на земле следы коровьих копыт, а потом услышал и голоса: где-то

перекликались пастухи. Чтоб не попасться никому на глаза, он поднялся и тихо побрел в глубь леса.

Постепенно становилось теплее, тихо в лесу. Меж разлапистых елей за пожелтевшими вершинами берез проглядывало хмурое небо, и во все стороны плыл, то затихая, то усиливаясь, печальный лесной шум. Хведору очень хотелось есть, давно уже назойливо-пусто урчало в животе. Оно и неудивительно: за весь вчерашний день ни крошки во рту не было, не до еды было – так он рвался домой! Последнюю корку хлеба, которой разжился у женщины на дороге, сжевал позавчера, картофеля не попало нигде, пришлось идти впроголодь. Вчера-то терпел – от волнения перед скорой встречей с родными местами не чувствуя голода, сегодня же с самого утра терпеть стало невмочь. Только чем тут разживешься? К пастухам не подойдешь, пастухи могут узнать. На дорогу тоже не сунешься – наверняка встретишь знакомого. С незнакомыми легче. Пускай придерутся – у Хведора была справка, что он Зайцев Андрей Фомич, уроженец Смоленской области и работает на Тасьминском деревообрабатывающем комбинате разнорабочим. Конечно, Смоленская область далеко, а где Тасьминский ДОК, не знал и сам Хведор. Справка, известное дело, могла послужить ему где-нибудь в Коми и не очень – за тысячу верст от нее. Но что было делать? Другой бумаги у Хведора не было, а эта дважды помогла ему. И на том ей спасибо.

Тихо, словно крадучись ступая по палой листве, Хведор шел лесом, держа направление на опушку. Он вспомнил старую грушу, под которой вчера было чем поживиться, но тогда ему было не до еды. Теперь же голод упорно гнал его через лес, пока между кустарников он не увидел простор знакомого поля.

Возле груши никого не было, трава по-прежнему была усыпана плодами. Должно быть, от скотины со стороны поля грушу оберегала зеленевшая рядом озимь, стадо прогоняли стороной, по лесу, Хведор набил карманы армячка гнилобокими грушами, вкус он помнил с детства и стал жевать. Скоро понял, что одними грушами сыт не будешь, значит, надо искать картошку. С этой стороны вдоль опушки всюду зеленела озимь, картошка, наверно, была за лесом. Если не убрали еще. Но не должны убрать, раньше сентября никогда не убрали.

В лесу уже совсем рассвело, сильнее шумели сосны, и плыли, начались по небу косматые тучи. Но дождя не было, не было и росы на земле. Ноги в растоптанных, заскорюзлых постолах на ходу согревались. Эти постолы, слава Богу, неплохо ему послужили – какая обувка выдержала бы такую дорогу? В дождь промокнут, а не разлезутся, в сухмень съезжатся, задубеют, станут будто железные. Неизносимые постолы! Спасибо тому рабочему, что с косой на плече встретился ему возле путевого барака и вынес кусок зачерствевшего хлеба и эти постолы: «Обувайся, ловчее будет». Хведор был босой, палец на левой ноге был сбит и кровоточил. Он не стал мешкать. Привычно обернув ноги старенькими онучами, натянул постолы. И правда, стало куда лучше, чем босиком, он протопал в них верст, наверно, двести и мог бы еще столько пройти. Постолы выдержат.

Напрягая слух, сторожась, Хведор опять не спеша шел по знакомому лесу, и тихое ощущение счастья лилось в его душу. То был его родной лес, тут он пас когда-то скотину, собирал грибы, потом валил деревья, когда зимой заготавливал рудничную стойку для нужд Донбасса. Казалось, он даже узнает полузабытый шум и шелест здешних деревьев. Там, на севере, лес был другой и шумел иначе – нелюдимо, могуче, угрожающе. Этот же – нет, не угрожал. Деликатно и мелодично трепетала на ветру листва порыжелых березок, вверху, мерно покачиваясь, медленно плыли куда-то вершины елей. Подлесок, однако, поредел за то время, что Хведор не видел его, или, может, бывшее мелколесье поднялось, превратясь в ладные деревца вокруг. И была уже осень – желтая и жухлая листва осыпалась, стелилась по траве, местами шурша под его постолами, и он опасался, как бы его кто не услышал. Но миновал, слава Богу, сосновый пригорок, по краю овражка вышел на давнишние корчевья – в глухом углу Казенного леса. Зброшенные давнишние делянки густо заросли кустами ольшаника, молодым ельником, всюду зеленел можжевельник. Чуть дальше начинался Долгий овраг с тихо текущим по дну ручьем. Миновав овраг, Хведор прошел версты две мелколесьем и вышел на опушку. Дальше лежало поле.

Как он и думал, эта часть поля от леса была занята картошкой. Ее уже выкопали, распаханная борозды чернели раскиданной ботвой, земля была перерыта, истоптана людьми и лошадиными копытами. Постояв на опушке, Хведор поковырялся в конце борозды и сразу нашел картофелину, потом еще две. Плохо выбирают, подумал он с внезапно проснувшимся хозяйским чувством, разве что перепахивать будут... Но если как следует выкопать, то и перепахивать можно на скорую руку. Тут же, похоже, и копали для отвода глаз. Заскорузлыми пальцами он крошил сухие комья земли, находил в них картофелины, запихивал их в карманы. Довольно скоро набралось три полных кармана, класть уже было некуда, и он с сожалением выпрямился: такое богатство в земле! Попадись оно ему под Котласом, где ели траву, кору с деревьев... Картофелина там была ценнее яблока. Даже сырая.

Довольный, с тяжелыми карманами подался назад в лес. Надо было выбрать место, разжечь костерок. Пожалуй, это было теперь самое опасное – костерок. Дым могли заметить в лесу. Пожалуй, лучше всего было податься на вырубку за оврагом, куда, знал, в прежние времена из Недолица нечасто заглядывали. Разве что бабы летом – по ягоды, грибы там не росли. Когда-то там водились волки, их вой на Филиппов пост доносился до его деревни. Дети туда вообще не ходили. Самый раз было ему забраться туда, поближе к волкам. Не к людям же, хмуро подумал Хведор.

Он долго шел лесом, пока набрел на корчевье, спустился в темный, густо заросший ольшаником овраг, ополоснул в ручье грязные руки. Вода была студеная и чистая как слеза, и он про запас напил из пригоршней. По склизким, зеленым от водорослей камням перешел на другую сторону оврага. Вскарabкался по склону не сразу, дважды отдыхая, – все же ослаб. Как два года назад на торфоразработках, когда вечером уже не было силы вылезти из торфяной ямы, а лопата казалась тяжелее бревна. Вот что значит жизнь! Да и годы. В молодости, бывало, легко подымал комель сосны на сани, бегом таскал по сходням мешки жита на мельнице. Однажды, чудак, на спор с кусенковскими хлопцами поднял Иванову жеребку. Славная была жеребочка, с лысинкой на храпе, потом на ней ездил милиционер Завьялов. А теперь еле выбрался из оврага, который подростком перемахивал с ходу, без передышки. Вот что сотворило с Хведором время и его нелепая каторжная жизнь. Если бы знать заранее, разве бы так ее устроил? Но и как было устроить иначе? Он ли распоряжался ею?

Вырубки и впрямь густо заросли ольшаником, осиной, по пояс стояли жесткие папоротники, за лето вытянулось к солнцу крупнолистное лесное разнотравье. Отойдя подальше от оврага, Хведор выбрал в кустах небольшую прогалину и принялся ладить костерок. По-прежнему очень хотелось есть, казалось, ничего на свете нет вкуснее печеной, только что вынутой из золы картошки. Но сначала надо было нажечь золы. Костер из валежника, которого тут хватало, загорелся от первой спички, но повалил густой рыжий дым, и Хведор испугался: его запросто могли тут заметить. Он немного раскидал костерок, чтобы уменьшить дым, совсем его унять было невозможно. Подбросил в огонь побольше хвороста, а сам отошел в кустарник и затаился. Если кто и придет на дым, то возле костра никого не обнаружит.

Он сидел в мелком кустарнике и, глядя на хвост дыма поодаль, горестно думал: до чего дожил! Ну ладно, там, на чужой стороне, за тысячу верст отсюда, там приходилось всего бояться, прятаться, таиться. А здесь? На своей земле? Среди своих людей? Когда и с кем такое случалось? А с ним вот случилось. И ничего не поделаешь. Должен скрываться. Иначе...

Хотя а что – иначе? Погибнет? Это было бы даже заманчиво – погибнуть, может, похоронили бы на своем кладбище. Посадят и тюрьму? Наверно, в тюрьме хуже не будет – будет какая-то пища и крыша над головой. После всего, им пережитого, тюрьмы он не очень боялся. Но его вряд ли накажут тюрьмой. Скорей всего отправят назад, снова туда, на студеную землю, на которой он жить не мог. Мог только умереть. Как умерла от чахотки его Ганулька, сгорела за два дня Олечка. Почувал тогда, что пришел и его черед.

Но он хотел умереть дома. И вот ему повезло – он добрался до дома.

Так на что же ему жаловаться? Вчера, как увидел родное поле и деревню, все в душе его засияло, запело. Конечно, расстроился, что гнездо разорено, думал, хутор его стоит. Сколько раз снились ему сад, подворье, колодец с гремучим воротом, недостроенная трехстенка. Все думал, догадались ли те, кто живет там, перекрыть угол амбара. Стреха в левом углу стала протекать, особенно в ливень, все собирался перекрыть свежими снопами. Да не собрался...

Где теперь все это? Куда вывезли? Или, может, пустили на дрова для сельсовета? Как после войны пустили на дрова фольварк Альбертовку. Славный был фольварочек – и лом и конюшня. Конюшня особенно была завидная. Собранный из пиленого бруса, под гонтом. Разорили все, разломали, сожгли в сельсовете и хате-читальне. Похоже, его хутор тоже пошел огнем и дымом. Странно, но он не жалел. Если жалеть все, что нажил и потерял, можно умом тронуться. Наживал годами, за немалую копейку, кровавыми мозолями и хребтом – своим и жены, тряся нал каждой соткой земли, над каждой соломиной и щепкой. А потерял все в одни миг и сам очутился на каторге. Только за что?

Это проклятое «за что?» раскаленным гвоздем сидело у него в голове. Тысячу раз спрашивал себя, когда ехали в смрадных вагонах на север, когда их гнали обозом по замерзшей реке, когда мучился на лесоповале в тайге, – спрашивал у жены, у людей, знакомых и незнакомых, спрашивал у начальников – за что? Ему толковали о власти, о классовой борьбе и коллективизации. Но никто не смог объяснить так, чтобы стало понятно: за что у него отняли землю, которую ему дала власть, лишили нажитого им имущества и сослали на каторгу? За что? В чем его преступление? В том, что поверил и согласился взять? Так как же было не взять, как бы он кормил семью? Брат Митька не хотел делиться, потому что и правда делить было нечего – шесть десятин неудобницы, что бы вышло из того раздела? Опять же, брат был старше его, на хозяйство имел больше права, нежели он, младший Хведор. Два лета кряду Хведор батрачил в фольварке, потом женился на такой же батрачке, как сам, без земли и приданого. У Ганульки тоже земли было с заячий хвостик, а семейка дай Бог – восемь душ, из которых пятеро братьев. Как было отказаться от казенной? Взял землю.

За то, что работал с прибытком? Так ведь и зиму, и лето бился как рыба об лед: строился, обрабатывал поле, старался исправно платить налога, выплачивать самообложение, займы, страховку. Подрос сын Миколка – стал помогать. Да и лозунг был от правительства – создавайте культурное хозяйство, кому хотелось прозябать в нищете, есть хлеб с мякиной? Хведор поверил, что власть говорит правду. Оказывается – обманулся.

Костерок еще не догорел, когда он нетерпеливо закопал в мелкие угли десяток картофелин – на больше углей не хватило – и снова отошел подальше, стал ждать. Пока вокруг было тихо, только у оврага недолго пострекотала и улетела сорока. А голод донимал все сильнее и сильнее. Минут через десять Хведор, не выдержав, прутиком выкатил из углей крайнюю картофелину. Она была еще сыроватая и твердая, но для голодного сгодится и такая. Он вытер о штаны перемазанные золой руки и, обжигаясь, принялся есть. Выгреб еще одну. Картошка, как он и ожидал, оказалась на удивление вкусной, и он ел ее одну за другой, пока в костре не остались последние. Эти, видно, испеклись как следует, и он горячими сунул, их в карман свитки.

Подкрепившись, почувствовал себя бодрее. Теперь надо думать, как выбраться из леса. Очень хотелось взглянуть на поле, может, узнает кого из сельчан – хотя бы издали он попробует угадать, как живется в колхозе. Видно, не очень чтоб здорово, но все-таки лучше, чем жилось ему эти годы. Главное – на свободе, на своей земле. Под Котлас из деревни никаких известий не приходило, только слухи, да и то иногда. Невеселые, однако, слухи, верить желания не было. А как здесь на самом деле?

Он выбрался из зарослей, обошел овраг и краем мшистого сырого болота вышел на опушку – уже с третьей стороны леса. Здешнее поле называлось Сёрбово и граничило с соседней деревней Черноручье, стрехи которой виднелись вдали на пригорке. Поодаль в поле действительно работали люди, его соседи-колхозники, – копали картошку. Ему ни дня

не довелось поработать в колхозе, но он читал о колхозной работе в газетах и ожидал здесь увидеть дружную работу сообща, всего артелью. Может, даже с песнями. Вместо того в ветреной полевой дали разрозненно ковырялся в бороздах десятков деревенских баб, и он видел отсюда их согнутые спины, большие головы в толсто повязанных платках, босые ноги. Все таскали за собой огромные коши с картошкой, которые относили к куче посреди участка. Возле той кучи бегал с бумагой в руке голенастый мужик, должно быть учетчик, в то время как трое других шали плугами борозды, то и дело зло покрикивая на лошадей. Лошади – видно было отсюда – едва двигались от усталости, мотая низко опущенными головами. Это были худые, заморенные крестьянские лошади, которых в их деревне когда-то можно было увидеть разве что у самых никудышных хозяев – Цыпрукова Змитера да у Игналёнка. Все же другие, как бы там ни жилось, за лошадьми старались досматривать, потому что без лошади нет хозяйства. Тут же, судя по всему, коней добились основательно. Правда, он наблюдал издали – может, вблизи эта работа не казалась такой тяжкой, может, и бабы работали веселее. Но что-то отрешенно-печальное влилось в его ощущения возле того поля и угнетало. Конечно, люди были слишком далеко, чтобы можно было кого-то узнать, хотя узнать очень хотелось... Он недолго постоял и краем леса двинулся в другую сторону – к большаку, надеясь, может, там встретить кого из знакомых. Только бы в лицо узнать, а заговорить да расспрашивать он не решится. Довольствуйся малым, а что поделаешь: видно, такая его судьба. Его выслали из деревни, выбраковали, словно запаршивевшего подсвинка, чтобы не портил стадо, вышвырнули подальше и забыли. Мог ли он кому навязывать себя? Тем более причинять вред внезапным своим появлением?

Большак, сколько Хведор помнил его, не изменился – был все так же разбит, разъезжен, поблескивал застарелыми лужами посередине, которые, видно было по колеям, с обеих сторон объезжали повозки. И две березы на той стороне стояли, как стояли и в его молодости, одна высокая и прямая, а другая раздвоенная, вилами – старые, заскорузлые березы с иссеченной на комлях корой. Под прямой, видно было через дорогу, недавно горел костер, пламя опалило кору, сожгло нижние ветки. Пастухи, наверное. Хведор присел пониже за пыльным придорожным кустарником, ждал, поглядывая в оба конца дороги. Пока никого не видать, должно быть, все в поле, чего ради колесить по дорогам без дела. Но он терпеливо сидел и думал. Кого прежде всего хотел бы он здесь увидеть? Пожалуй, Савчика Лёксу. Все же сосед, одноклассник и вообще душевный мужик, дай Бог ему счастья. Только не очень-то Бог наделил Лёксу счастьем, в николаевскую войну он был ранен шрапнелью в плечо и, сколько его помнил Хведор, все маялся с рукой, тяжелая работа ему не давалась. Но в крестьянском деле где возьмешь легкую? Бился несчастный Лёкса на одном наделе с кучей малых ребят, Хведор иногда подсоблял ему – то напилит дров, то навоз поможет накидать на телегу. Но помогал так, по-соседски, без большой охоты, а иногда и с досадой, когда, бывало, попросит хомут, а тут самому запрягать надо. Порой одалживал ему денег, В общем, Хведор его жалел, потому что сосед, к тому же ровесник, оба немало натерпелись на германской войне. Знать бы, как все обернется дальше, жалел бы больше, с большей душой. Все же хороший был человек Лёкса.

Ну да, видно, зряшное это дело – ждать того, чего хочешь. Немало времени Хведор просидел у дороги, она по-прежнему была пустынной, пожалуй, напрасно он сюда притащился. И только подумал – со стороны местечка появилась повозка. Пегая лошадка живо катила вниз с горки, в телеге двое – мужик и баба. Любопытно, что лошадью правила сидевшая в передке баба. Бабу он не узнал, даже когда повозка подъехала ближе. А вот мужик... Мужик был в зимней кудлатой шапке, в кожухе с поднятым воротником, понуро сидел в задку повозки, сложив на коленях руки, ноги были укутаны пестрым лоскутным одеялом. И все время он глухо, нехорошо покашливал. Что-то знакомое показалось Хведору в его измученном лице, и, когда телега совсем была близко, вдруг он, словно кто подсказал, узнал Зыркаша. Да, это был Микита Зыркаш, который написал на Хведора, что у него молотилка, с этого все и пошло. Сперва одно твердое задание, потом другое, дальше – больше, пока не выслали. Однако же, видно, и у завистника Зыркаша не задалась жизнь,

ясно, что болен. Видно, жена везла его из больницы или от доктора, и, взглядевшись в бледное лицо Зыркаша, Хведор понял: не жилец на этом свете Зыркаш. Одной ногой он уже там. Хведор хорошо чувствовал это – насмотрелся на таких за свою жизнь. В душе невольно шевельнулось мстительное чувство к больному: действительно, Бог видит все и карает по справедливости. Раньше он бы порадовался, а теперь не смог. Зла на обидчиков он уже почти не держал – перегорело оно за годы собственных мук, никому он не желал зла, как и себе тоже. Пусть поправляется и долго живет на земле завистник Зыркаш.

Но почему-то стало тоскливо. И горько. День вроде клонился к вечеру – кончался первый долгожданный день его пребывания на родине. Все получалось не так, как он ждал, все через пень колоду. Что будет дальше?

Он еще посидел немного, может, еще увидит кого на вечерней дороге, но больше никто не появился на ней. Стало смеркаться, он поднялся и краем леса потащился к деревне. Пожалуй, пока не стемнело, надо было пробраться на свое корчевье, но его упрямо тянуло к деревне. И он медленно шел по лесу, потом, осмелев, выбрался на опушку к озимому полю. Над лощиной и полем уже сгущались осенние сумерки, слабо заблестело вдали несколько огоньков в деревне – колхозники зажигали свет. И ему захотелось заглянуть с улицы в чье-нибудь окошко, посмотреть на людей в хатах, может, увидеть знакомые лица. Рискованно было, но, может, не узнают, даже если заметят, А окликнут – он не отзовется, словно глухой, тихо пройдет по улице. Так подмывало увидеть кого живого-знакового! Но доброго человека, не злыдня, конечно.

Тихо, словно крадучись, останавливаясь на каждом шагу, он, как и вчера, миновал по озими свое несчастливое селище, медленно вышел огородами к улице. Вот и приземистая Савинкова хата под кривой суковатой вербой. Если забраться в огород, то окажешься возле окна, напротив Лёксовой печи, у того же окна впритык к подоконнику когда-то стоял кухонный столик. Вовсе уже впотьмах Хведор перелез через изгородь, обжигая в крапиве руки, пробрался ближе к постройкам. Света в окнах у Лёксы пока не было, но Хведор чувствовал, что там не спали – какие-то неясные звуки из хаты порой доносились до его слуха. Затаившись в крапиве, он ждал. И правда, где-то наконец глухо стукнула дверь, в окне появился зыбкий свет от коптилки. Мелькнул в одном окне, в другом и замер в дальнем углу, у запечья. Хведор напряженно вглядывался – кто там? За окном метнулась и пропала чья-то неясная тень. Кто это был, отсюда разобрать было невозможно. Не слышно было и человеческого голоса в Лёксовой хате, а когда-то набита была ребятишками. Или, может, там никого не было, кроме этой безмолвной тени? Но где же тогда остальные? Где сам Лёкса? И его пять дочерей?

Больше из крапивы ничего не видать, огородом – на улицу и снова, как вчера, неслышно побрел Хведор по деревне. Красный мигающий свет от коптилок засветился еще в нескольких хатах, но в двух окна были завешены, а возле третьей кто-то топтался во дворе у самой калитки, и Хведор, втянув голову в плечи, торопливо протопал мимо.

## Глава третья ПОЛНОЛУНИЕ

Ночевал снова в лесу. По опушке отошел подальше от деревни, набрел на сухой боровой мшаник и скорчился под кустом можжевельника. Ночь выдалась холодной, сон долго не шел. Почти до первых петухов он вертелся на мху, содрогаясь от стужи и все размышляя над нелепыми вывертами своей несчастной судьбы.

Все не переставал удивляться, как ему повезло, может, первый раз в жизни. Правда, если бы знал заранее, что его ждет дома, то, может, подумал бы, стоит ли рисковать ради такого. Но не знал, не догадывался, и, в общем, хорошо, что не знал, поэтому вот теперь – дома. Что будет потом, он не думал ни тогда, когда решился на это, ни сейчас, когда достиг цели. Главное – он добился чего хотел, а там будь что будет. Не очень это разумно, если вовсе не глупо, как у пьяницы, который стремится раздобыть бутылку, а о будущем

похмелье не думает. Или как голодный – лишь бы сейчас наестся, а что будет потом – его мало заботит. Казалось, Хведор утолил жажду своей души, а о дне завтрашнем боялся и думать.

Ночью снова стал донимать голод. Две печеные картофелины он съел, блуждая по лесу, в кармане оставались лишь три сырые. Там, под Котласом или Сыктывкаром, за милую душу ели и сырые. Если нарезать дольками и положить на хлеб, как редьку или брюкву, съешь и пальчики оближешь. И очень годится от цинги. Видно, придется и тут переходить на сырое, особенно когда кончатся спички. Как он ни берег их, осталось всего шесть штук в измятом, потертом коробке, а больше где взять? В лесу не найдешь, в деревне не попросишь. Попросить можно было в той стороне, где тебя не могли узнать. А тут сразу узнают. Вот диво, подумал Хведор, выходит, что беглецу в чужой стороне сподручнее, чем в родной, к которой так рвался, о которой не переставал думать ни ночью, ни днем, где столько знакомых, соседей, односельчан, с которыми прошла его жизнь. Но как раз к ним и не сунься, их надо остерегаться пуще всего. Вот как нелепо получилось. Так не по-людски и не по-божески. Почему так?

Теперь у него, как у малого ребенка, были десятки и сотни таких почему, ответить на которые он не мог, сколько ни думал. И никто ответить не мог, у кого он ни спрашивал.

Эта ночь казалась бесконечной и прошла для Хведора в непрестанном борении с холодом. Он все вертелся на стылом мшанике, уже не преодолевая дрожи, стучал остатками зубов – старался согреться. Но согреться было невозможно. Да и смутная тревога, неотвязная на грани сна, цепко держала его в своих объятиях. Он то забывался в каких-то дремотных видениях, то просыпался снова. Вокруг было тихо. К полуночи почти затих привычный шум леса, вершины елей совсем пропали в густой темени неба: между туч сверкнула и исчезла высокая одинокая звездочка. Наверно, уже за полночь где-то загикала лесная сова – в стороне болота, за вырубками,- коротко гикнула в последний раз и умолкла, будто подавилась. Может, и он ненадолго задремал под утро, совсем обессилев в борьбе со стужей и незаметно для себя притерпевшись к ней.

Проснулся, охваченный неясным беспокойством, почти испугом, поднял голову и увидел перед собой мокрую коровью морду с ниткой зеленой слюны на губе. Корова в упор разглядывала его большими печальными глазами и жевала. Рядом зашелестели ветки, и из кустов появилась еще одна буренка со сломанным рогом на крутом лбу, которая тоже уставилась на Хведора. В следующее мгновение он со страхом понял, что очутился возле деревенского стада, которое того и гляди сейчас обступит его, и вскочил. Конечно, коровы были ему нестрашны, но где-то поблизости шли пастухи, они могли его увидеть. Взмахнувши на коров руками, он двинулся в сторону, в заросли можжевельника, когда совсем рядом залилась лаем собака. Судя по визгливому голосу, собачонка была так себе, во всяком случае не овчарка. Но, черт бы ее побрал, она устроила немалый переполох в лесу и, конечно, дала знать о нем пастухам. Что было мочи Хведор бросился прочь, в глубь леса, Собачонка выскочила из-за можжевельника и помчалась рядом, словно наперегонки с ним. Ослабело трюхая меж деревьев, Хведор вполголоса ругался, пытаясь унять собаку, но та не унималась, я ее остервенелый лай неотвязно сопровождал его. «Маленькая, а злая, чтоб ты сдохла, поганка»,- на бегу думал Хведор. Но видно, сдыхать она не собиралась и долго еще гнала Хведора.

Наконец, притомившись, собачонка начала отставать, ее пронзительный лай прерывался порой, пока наконец и вовсе не затих позади. Но и Хведор изрядно вымотался от этого бега наперегонки и едва брел между деревьями. Его душили злость и обида. Это ж надо – еще и собака! Боялся нарваться на собаку в деревне, а она настигла его в лесу. Пусть бы уж волк, дикий кабан или овчарка, как это случалось на севере, а то мелкая визгливая тварь. Чтоб ты сдохла, проклятая! Хорошо еще, если в мелком кустарнике его не заметили пастухи.

Проклятая собачонка загнала его в тот край леса, который он знал хуже всего. На сумрачной голой земле тут не было даже травы или мха – все сплошь усыпано хвоей. Вокруг

тесно стояли темные суковатые ели, сквозь их чащобу почти не проглядывало далекое небо. Зато было тихо, покойно, казалось, людские страсти совсем не проникают сюда. Ровный лесной шум катился-плыл где-то поверху, почти не достигая земли, и треск сучка под ногой был слышен далеко. В этой стороне леса Хведор был когда-то всего два раза, и, кажется, оба зимой, когда валили лес для Донбасса; помнилось, как отвозил тогда свои кубометры за сорок километров на станцию. Далее к западу начиналась знаменитая в здешних местах Боговизна – огромное, без дорог и селений болотное пространство, широкой полосой протянувшееся до самой польской границы. Это был уже совсем чужой край, таинственный и малознакомый.

От усталости плохо держали ноги, хотелось упасть и не подняться, Хведор долго не мог успокоиться после изнурительного бега и неприкаянно брел ельником, то т дело обходя низко торчащее еловое сучье. Наверно, теперь можно было не бояться: стадо сюда вряд ли пригонят, людям и скотине тут делать нечего. Понемногу он успокаивал себя, но вместе с успокоением все настойчивее давало себя знать привычное чувство голода. Он невольно озирался, словно пытаясь разглядеть что-либо съестное. Но, видно, съестного тут не водилось. Вконец измотавшись, сел на низкий сук выворотня, достал из кармана старенький ножик. Когда-то, еще до колхозов, купленный в сельской лавке, он неплохо послужил Хведору и там, на севере, и в дороге. Большое лезвие его расшаталось, сточилось до узкого перышка, зато меньшее прочно сидело в железном черенке. Этим лезвием Хведор слегка поскоблил картофелину и стал ее есть, отрезая небольшими ломтиками. Вкус сырого картофеля был не очень привычен Хведору, но ему теперь было не до вкуса. Лишь бы что-нибудь да жевать, чтобы приглушить голод. Потому что уже не было сил брести по этому неприветливому, диковатому лесу.

Так он съел и остальные картофелины (больше в карманах ничего не было), нисколько не утолив голода. По-прежнему хотелось есть, и он подумал, что надо поискать грибов. Есть сырые грибы, конечно, риск, но если развести костерок... Пожалуй, тут можно. Или зайти еще глубже в лес, поближе к Боговизне. Уж там его вряд ли кто обнаружит.

Потом он долго расслабленно брел ельником, не очень и представляя, где он находится, а ельник все не кончался, и никаких грибов в нем не было видно. Изредка попадались старые, очевидно летние, почерневшие мухоморы, и ничего больше. Или, может, не грибной выдался год, думал Хведор, все больше впадая в уныние из-за своей сегодняшней невезухи. Потом он свернул в сторону – ближе к лесной деревушке Чезляки, которая, как он представлял, должна была находиться где-то поблизости. Уж там, наверное, этот ельник кончится, и в тамошних перелесках он что-нибудь да отыщет. Если не боровики, так хотя бы сыроежки. Только бы не пасли там скотину. Где пасется скотина, туда по грибы не ходят.

Он еще не дошел до Чезляков – не знал даже, много ли до них осталось, – как на болотистом мшанике между елей увидел клюкву. Густая ягодная россыпь в мелких глянцевиных листочках, никем, казалось, не тронутая, будто нарочно дожидалась его. Хведор бросился на мшаник и с жадностью стал есть ягоды, не очень разбирая, с листьями и мусором. Ползая на коленях по волглому мху, загребал их пригоршнями, ссыпал в карманы. Конечно, клюква плохо утоляла голод, но вкус у нее был приятный – кислый, с детства привычный вкус, который он не забывал и на севере. Там тоже время от времени случалось набрести на заросли клюквы или морошки, которые не раз спасали ссыльных от голода и болезней. Только там нечасто выпадало такое ягодное изобилие – вблизи от поселков ягоду поедали еще зеленой. Жаль, что целыми, без дыр оказались у него лишь три кармана – в штанах и в свитке, – много ли наберешь в них. Когда карманы были наполнены, он принялся грести ягоды в кепку и ползал по мшанику, пока наконец не сказал себе: хватит! Всего не съешь, а взять с собою больше не во что. На всякий случай постарался заметить счастливый мшаничек – за большим ельником в сторону Чезляков. Может, еще пригодится.

Немного повеселев, с набитыми клюквой карманами и полной кепкой пошел дальше. Куда – и сам не знал. Ельнику, казалось, не было конца-края – или, может, Хведор взял не то направление?



Должно быть, и в самом деле не то. Он понял это, когда ельник вдруг оборвался, впереди посветлело и он увидел широкую полосу осоки, за которой простирались глухие заросли лозы, крушины, ольшаника. Кажется, тут начиналась Боговизна, слышшая среди здешних жителей особенным, почти дьявольским местом. Все необыкновенное и жуткое было связано с Боговизной. Ею пугали плаксивых детей и пьяных мужиков, в гневе желали обидчикам провалиться сквозь землю в Боговизне. Говорили про какой-то подземный ход, или подземное русло, которое будто бы соединяло тамошние бочажины с другими омутами и озерами. Когда перед революцией в Боговизне утопла Змитрокова корова, то осенью ее труп нашли в Белом озере – за семь верст от Боговизны, хотя на поверхности их не соединяла никакая даже самая малая речка. То был людьми и богом проклятый край – многие версты непролазной трясины и болотных омутов с зарослями чахлого ольшаника, камыша, аира, местами на кочках буйно разрастался лозняк. Люди испокон веку обходили эти места, а если кто ненароком и забредал сюда, то потом спасу не было от темных страхов, испуганно кричал по ночам. Зимой Боговизна слегка подмерзала, но ее бесчисленные окна-бочаги даже в самый лютой мороз покрывались лишь тонким, непрочным льдом, который не держал человека. Разве что волка. И в морозные январские ночи оттуда доносился протяжный вой многочисленных волчьих стай. Некогда в соседних с Боговизной лесах водились медведи, немало досаждавшие жителям окрестных селений. С детства Хведор помнил рассказ деда про встречу с косолапым, когда старика захватил ливень и он укрылся в выжженном пастухами дупле старого дуба. Лил дождь, были сумерки, а в дупле и вовсе стало темно, когда снаружи в него сунулось что-то косматое и вонючее. Дед сжался, ни живой ни мертвый, медведь так его придавил широким косматым задом, что невозможно былодохнуть. Косолапый поудобнее устраивался в тесноте, видно, собираясь задержаться здесь надолго. Но деду задерживаться было некогда, ему нужно было домой, а прежде найти и обротать лошадь, которую он отпустил попасть неподалеку. И как было выбраться, чтобы не потревожить непрошеного гостя? Дед думал, сомневался, но не надумал ничего лучшего, чем изо всей мочи крикнуть из-за спины. И медведь, словно пробка из бутылки, выскочил из дупла, обдав деда смрадом. Такой была Боговизна.

Хведор постоял возле болота, и подался прочь от гиблого места, и снова долго брел лесом. Опять притомившись, сел под толстенной смолистой елью, положил на колени кепку с клюквой, по яголке жевал, думал. Как все-таки славно в лесу на воле! Никто тебя никуда не гонит, ты никому не нужен, никто не нужен тебе. Если бы так можно было прожить жизнь! Впрочем, так когда-то и жили – в дружбе с природой и лесом, находя в нем и прокорм в голодные годы, и пристанище во время лихолетий. Лес оборонял, согревал, кормил – был лучшим благодетелем людей. Но то прежде. А теперь вот настало другое время – не спастись и в лесу. У людей всегда отыщется повод, зависть или злоба, – разыщут в лесу, найдут под землей. Это он хорошо усвоил. Хотя и не заметил, с чего все повелось, что стало тому причиной. Вот и в природе, кто знает, в чем тут загадка, но случается почти так же. Ему припомнился случай на северной реке, когда он работал сплавщиком. Сидел однажды в будке на плоту, затесывал клин под ослабшее перевязло. И вдруг через открытую дверь к нему стремглав влетел воробей, бросился на плечи, на голову, сбил на пол шапку, Хведор с перепугу пригнулся, замахал руками, словно отбиваясь от птицы, которая тотчас же вылетела на волю. Выскочив следом, Хведор понял, что заставило ее броситься к человеку. Над плотами стремительно вилась воробьиная стая, которая вся враз словно по команде набросилась на беднягу. В воздухе ошалело завертелся злой птичий клубок, воробьи в ключья рвали несчастного собрата. Скоро от него ничего не осталось, только несколько перышек тихо опускались над водой. Круто развернувшись, стайка скрылась за лесистым обрывом реки. Удивленный Хведор стоял и думал: за что? Даже и птицы! Неужели в этом исконный закон природы, чтобы все – на одного? Но почему на этого одного? Чем этот воробей вызвал гнев остальных? Поступил иначе, чем все? Нарушил какой-то птичий порядок? А может, своей несхожестью с другими? Разве не могло так быть, что виноват не он – виновата стая? Как у людей? Разве у птиц так не бывает?

Хотя, наверно, у птиц бывает иначе, чем у людей. Все же у птиц больше справедливости. Случай с воробьями он наблюдал один раз в жизни, а на людскую несправедливость насмотрелся до тошноты. Видел ее, считай, каждый день.

В этот раз он долго сидел под елью, как-то по-домашнему расслабился, даже вздремнул немного. Где-то над ним, на еловой вершине, горласто прокаркала ворона, и он очнулся от дремы. Все его мысли были далеко от этого ельника – они были там, в деревне. Он думал о ней на севере, думал теперь. О ее хатах, заботах. О своих соседях. О ее полях, политых потом. Он не мог войти в нее запросто, но мысленно всегда был там. И его неудержимо тянуло туда. Невзирая на опасность.

Где-то под вечер он наконец решился и снова потащился лесом. Шел прежней дорогой сквозь ельник туда, откуда его прогнала собака. Шел осторожно, оглядываясь по сторонам, часто останавливался, прислушивался к звукам леса, всегда таинственным. Вокруг было тихо и пусто. К вечеру, кажется, утих ветер, ели стояли в отрешенном покое, словно задумавшись о чем-то. Напутавшее его стадо, должно быть, уже бредет к выгону, думал Хведор, злая собачонка старательно подгоняет отставших коровенок. Люди тоже спешат с поля к своему жилью; на ночь глядя в лесу никто не хочет остаться. Даже такой несчастный бродяга, как Хведор.

Он еще не вышел к опушке, как начало смеркаться. В лесу под деревьями густел мрак, сливался в непроницаемую массу ближний кустарник, волглой становилась трава под ногами, и Хведор заторопился. Уже в сумерках миновал то место, где на него набросилась собака, и вскоре вышел из леса. Впереди светлело подернутое сумерками поле, стада на нем нигде не было видно, К деревне надо было идти вдоль леса по истоптанной скотом стерне, Но выходить в поле было еще рано – все-таки еще не совсем стемнело, и он сел под кустом на опушке. Сидел. Опять ел свою клюкву, коротал время. Поодаль перед ним лежал выгон, знакомая до мелочей околица деревни – с двумя грушками на Петраковом наделе, с кучей камней на бывшей меже в конце выгона. Некогда тут был и отцовский надел, на котором немало потрудился Хведор, Правда, больше и дольше его хозяйствовал там старший брат Митька, который в начале коллективизации подался в Донбасс. Сперва уехал сам, потом забрал и семейство, навсегда оставив хату, землю, все дворовое имущество. Должно быть, невозможно тут стало жить брату сосланного кулака, и Митька решился на добровольную ссылку. Как он теперь там, на шахтах? Ни разу не написал Хведору в далекий Котлас, как, впрочем, и Хведор не отважился написать ему. Да он и не знал адреса брата. Распались семья, рушились кровные человеческие связи. Братья становились чужими. Такое настало время. Да что брат, если вот и сын тоже.

Про сына Миколку Хведор не переставал думать ни на минуту, это была его вечная боль, неумная большая забота. Хорошо, конечно, что сыну удалось отмежеваться от позора семье и даже пробраться в начальство. Но, надо думать, очень рискованно все это, можно и погореть дотла. Чужало отцовское сердце, что чересчур шаткое, должно быть, ненадежное положение у Миколки, и так хотелось уберечь его от беды. Но много ли он мог сделать, беглый спецпереселенец? Разве что отречься от сына, никогда не напомнив о себе ни просьбой, ни письмом, ни даже скупой весточкой,- будто он умер или его вовсе не существовало на свете. Пусть будет счастлив сынок Миколка, пусть никогда и ни в чем не упрекнет отца. Может, повезет хоть последнему из рода Ровбов, других удача уже навсегда миновала.

Над полем и выгоном тихо опустилась холодная ночь. На небе в рваных ошметках туч появился сверкающий диск луны, недолго повисел над полем и закатился за взлохмаченный край тучи. Скоро он выкатился снова и светил долго и ярко, обливая поле, опушку и человека на ней призрачным серебристым светом, Хведор не любил полнолуния, оно всегда тревожило его причудливым светом, загадочным смутным предчувствием. Теперь же полная луна и вовсе была ни к чему, и Хведор ждал, когда она скроется надолго. Деревня и хаты с опушки были видны плохо, отсюда их закрывала купа кладбищенских сосен, которые слитной высокой массой чернели за выгоном. Там царил тьма и даже при лунном свете

ничего нельзя было разобрать. Хведор, однако, вглядывался в далекие очертания деревенской околицы, и его все больше тянуло к кладбищу. Когда луна наконец скрылась в тучах и вокруг все враз будто съезжилось, потемнело, он поднялся из-под кустов и торопливо пошел по полю. Луна между тем снова ненадолго выглянула и снова скрылась за облаками, по он уже не останавливался до самого кладбища.

Со стороны поля ветхая кладбищенская ограда была сломана, должно быть скотиной, он перелез через уцелевшую нижнюю жердку и остановился. Скупой свет луны, словно инеем, серебрил беспорядочное нагромождение крестов и могил. Это были, очевидно, новые захоронения, их собралось тут много, и ни одно из них не было знакомо Хведору. Кресты, большие и малые, а то и вовсе махонькие, могильные холмики совсем без крестов заняли всю низинку у выгона. На высоких католических крестах кое-где виднелись белые ситцевые ленты, засохшие букеты внизу. Хведор заметил в отдалении вырезанную, должно быть, из фанеры пятиконечную звезду, отчетливым силуэтом выделяющуюся на фоне светловатого неба. С затаенным любопытством он осторожно прошел между могил и в свете луны ошеломленно прочитал на черной дощечке: «Сокур Иван». Ниже были обозначены даты рождения и смерти. Минуту он недоуменно смотрел на надпись, оглядел невысокий могильный холмик. Было заметно, что могилу не обкладывали и, похоже, никто не присматривал за ней, вся она густо поросла бурьяном и выглядела совершенно заброшенной. Впрочем, как и многие другие могилы рядом. Но те были, наверно, давние, забытые могилы, а вот эта принадлежала человеку, которого должны были помнить в деревне. Когда Хведора ссылали на север, этот Сокур помогал районным начальникам и в то время казался бодрым, вполне здоровым мужиком, И отчего он очутился тут до поры, недоумевал Хведор. и злым он, кажется, не был, Хведор на него обиды не держал. Хотя... Может, знай он, что близкий конец, мог бы быть и получше. Таким, как его отец, спокойный, рассудительный старик, не только никому не причинивший зла, но многим помогавший в их трудный час. Было время, он приютил семью брата, убитого молнией. Была гроза, брат укрылся под грушей в поле, да так там и остался. Вечером его, мертвого, нашли пастухи, назавтра схоронили, осталась больная вдова с шестью детишками. Старый Сокур всех перевез к себе в хату, воспитал, вывел в люди детей. Хороший был человек. Но, должно быть, сын пошел не в отца. Большого зла он людям не чинил, но, видно, был слишком покладист на должности председателя сельсовета, и районное начальство помыкало им как хотело. В тот день, как высылали Ровбу, он был поставлен следить, чтобы раскулаченные согласно приказу взяли с собой только пилу, топор, кое-какую одежонку да харчей на три дня. Все остальное – картофель, зерно, имущество, нажитое годами труда и пота,- реквизируют в пользу сельсовета. Пускай бы реквизировали на общественные нужды, думал потом Хведор, но они же отбирали прежде всего затем, чтобы не оставить ссыльным, не позволить взять в дальнюю дорогу, чтобы те поскорее поумирали там от голода и стужи. Шестилетняя Олечка как раз надела новые валеночки, осенью скатанные дай нее в местечке. Всю зиму девочка берегла их, обходясь старенькими, латаными-перелатаными отопками, которые было решено доносить до весны и выкинуть. Но когда стали собираться в эту дорогу, мать велела ей надеть новые – все же выправлялись в люди и матери ее хотелось, чтобы девочка выглядела хуже других, Олечка послушалась, на свою беду, и перед самым отъездом стояла на затоптанном крыльце в ладных черных валеночках. Зря, видно, стояла. Бросились эти валеночки в хищные очи уполномоченного, мрачного человека в черном полушубке, и тот что-то приказал Сокуру Ивану. Сокур помялся, передернул бритым лицом, но подошел к девочке и передал приказ. Оля послушно сняла валенки и осталась на снегу в одних рваных чулочках. Увидев это, Ганулька заплакала и вынесла из сеней оставленные там отопки. Хведор укоризненно проговорил про себя: «Да-а-а!»- на что Сокур молча пожал плечами: мол, при чем я – приказали! Он подобрал те маленькие валеночки и носил с собой, пока раскулаченные грузили пожитки, прощались с родней, а Хведор все думал про него: не по-божески это – разуть дитя, не в теплые же края едут – на север, в стужу и морозы. Нет, не сказал. И поехала Олечка в ветхих отопках, и ходила в них еще две зимы, и простужалась, и

хворала. Пока не простудилась последний раз, когда уже ничего ей не стало нужно.

В тот раз по широкой северной реке они гнали плоты – целый плавучий караван из бревен на тысячи кубометров древесины. Было их тринадцать человек в бригаде Кузнецова, средних лет бородатого мужика, наверно, всю свою жизнь проработавшего на сплаве. Он хорошо знал реку, все ее повороты, мели и перекаты, умел сноровисто обойти опасный каменистый слив, не рассыпать связки, не напороться на камни или на какой-нибудь полузатопленный песчаный остров. С людьми был строг, неразговорчив, не любил лодырей и слабосильных (что было для него одно и то же). Поэтому, видно, Ровба и попал в его бригаду – он был тогда вынослив, терпелив и беспрекословен. Нашлась, однако, причина, от которой едва не кончилась его работа на сплаве. После смерти жены осталась одна, без присмотра десятилетняя Олечка, и Хведор вынужден был взять дочку с собой. Но находиться на плоту посторонним строго запрещалось, поэтому Кузнецов, увидев плотогона с ребенком, тут же отправил его в контору. Может, он думал, что Ровба станет артачиться или упрашивать, а Ровба покорно собрал свой узелок, взял за руку дочку и, сказав «до свиданья», молча сошел на берег. С берега в последний раз оглянулся на реку и бригадира, который молча стоял на плоту, И вдруг бригадир взмахнул рукой, давая им знак вернуться. Хведор покорно, как и уходил, вернулся, и Кузнецов раздраженно выпалил: «Оставайся. Только смотри; догоришь – я ничего не знаю. Понял?» «Понял», – скупой сказал Хведор, безмерно обрадовавшись такому повороту судьбы. В самом деле, он уже свыкся с работой на сплаве, ему нравилось речное приволье, лесные берега вокруг и высокое вольное небо над ними. Тяжелой работы он не боялся, думал, что тяжелее, чем на торфоразработках или на лесоповале в тайге, нигде не будет. Опять же при нем всегда будет Олечка, и душу его не будет щемить всякий раз, когда придется оставлять дочку одну и терзаться, как она там, не голодна ли, не обидел ли ее кто из взрослых. При жизни матери все было проще и спокойнее (хотя и тогда Олечка целыми днями сидела в холодном бараке, пока мать работала на лесосеке). Теперь же в поселке не осталось ни одной знакомой, родной души, а люди там были разные, собранные со всего света – как было бросить дитя без присмотра? Хведор был очень благодарен бригадиру за его доброту и за двоих вкалывал на сплаве.

Если бы он знал, чем обернется для него эта доброта, лучше бы оставил дочку в тайге, в первом попавшемся лесном поселении среди чужих, незнакомых людей. О, если бы знал...

На плоту Олечка не оставалась без дела, была услужливой, очень старательной девочкой и чем могла помогала строгим молчаливым дядькам. Спустя несколько дней бригадир поставил ее помощницей к кашевару Кравцу, тихому, покладистому человеку, самому старому в их бригаде. Кравец, в общем, неплохо относился к девочке, не обижал. Иногда, правда, прикрикнет, если она сделает что не так или замешкается, но прикрикнет без злобы. Без злобы – это главное. Не то что его земляк Роговцев – крикливый, психованный проходимец, который на каждом шагу все с матом, с самыми паскудными словами. По всякому поводу и без повода, наверно, больше по причине своей вечной нутряной озлобленности. Всякий раз, когда Хведор слышал эту матерщину, ему словно гвоздем протыкало сердце. По возможности он старался оградить от нее Олечку и, как только Роговцев начинал сквернословить, нарочно заговаривал о чем-нибудь с ней или отсылал ее на другой конец каравана. Но однажды, когда этот матерщинник особенно похабно заговорил при ней о бабах, стоящих на берегу, Хведор не вытерпел и сдержанно упрекнул человека: мол, негоже так распускать язык при ребенке, можно бы немного и по-людски. Роговцев тут же заорал, что ссыльный Ровба ему не указ, что его матюки – мелочь для того, кто нелегально содержит на плоту посторонних и тем самым нарушает режим. Вот он стукнет в ближайшем поселке, и тогда его доченька не такое услышит на ближайшем этапе, куда ее запротрят вместе с ее чистоплюем папашей.

Хведор так растерялся от этих бессовестных слов, что ее нашелся что ответить. Казалось, он уже достаточно насмотрелся на всяческую человеческую подлость, но такой не видел. Вечером, когда они прошли трудную Устюжную мель, об угрозе Роговцева он рассказал бригадиру, думал, бригадир заступится, отчитает наглеца. Но Кузнецов только

насупился и сказал: «Этот все может». «Так что же мне делать?» – растерянно спросил Хведор. И Кузнецов, сверкнув на него строгим взглядом, ответил: «Появятся чужие – прячь дочку». «Где же тут спрячешь на плоту?» – искренне изумился Хведор. «А под плотом и спрячешь», – бросил бригадир и зашагал себе по скользким бревнам на корму к стерновому. Хведор стоял, не зная, всерьез это или, может, в издевку. Только постепенно до его сознания дошло: а и правда, можно ведь спрятаться в воде, за плотом. Олечка уже научилась неплохо плавать, будет держаться за бревно, авось не утонет. Тревожило только одно: лето было на исходе, вода с каждым днем холодала, они на плотам уже перестали купаться, только умывались по утрам. Утра становились совсем холодными.

Кто знает, исполнил ли свою угрозу этот Роговцев, но вот как-то на плот для проверки прыгнул вохровец из районной комендатуры. Была как раз остановка плотов перед Усывинским перекатом. Случалось, вохровцы наведывались для проверки и прежде, но проверяли больше для вида: спросят кое о чем у бригадира, позыркают по сторонам и спешат на берег. Этот же, мордастый приземистый вахлак в длинной серой шинели, поговорив с бригадиром, намерился пройти по плотам до кормы, и у Хведора недобро зануло сердце. С багром в руках он стоял по правую сторону плота, а в пяти шагах от него, держась за веревку, сидела в воде Олечка; только ее светлая головка покачивалась возле бревна на поверхности. И вот вохровец остановился посреди плота, лениво пораскачивался на толстом комле и завел с бригадиром разговор о хитростях здешней рыбалки, о том, на какую блесну берется осенью семга. Время было не позднее, но уже далеко не полдень, с севера дул холодный ветерок. Хведор напрягся от нетерпения, слушая этот бесконечный пустой разговор. Но вот, кажется, они уже собрались возвращаться к берегу, уже повернулись, уже шагнули идти... И снова остановились. Вохровец, показывая на поселок, что-то говорил бригадиру, а Хведор молча, про себя ругался: чтоб ты сдох, сытый пес! Олечка, видно, уже заоченела в воде за плотом, а вохровец медленно, с остановками шел по неподвижным плотам, говорил и говорил, потом бесцельно топтался у берега, все оглядывая реку. Хведор стоял, напряженно думая, стукнул Роговцев или нет. Наконец вохровец исчез за прибрежным кустарником, и он с трудом вытащил Олечку из воды – та вся посинела от холода и, мелко стуча зубами, не могла вымолвить ни слова. Дрожащими руками отец торопливо вытирал ее грубой мешковиной, тер худенькие плечики, впалую грудку. Надо было переодеть ее в сухое, и он снял с себя свитку, укутал дочку. Пришел Кузнецов, глянул, все понял и сбросил ватник – на, укрой! Спасибо ему, укрыл. Потом Кравец вскипятил воду, и он поил ее кипятком – казалось, как-то отогрел девочку.

На ночь положил на обычном их месте – за будкой, на влажном слежавшемся тряпье, закутал в мешковину и бригадирский ватник, Она согрелась и уснула, и он, сидя рядом, думал: может, и обойдется. Но не обошлось. Под утро начался жар, запылала дочка, просила пить, жаловалась, что болит головка. Он поил ее теплой водой, ничего другого у них не нашлось – ни лекарства, ни какой-либо травы. Утром слегка задремала, но во сне вся горела, а ему нужно было заступать за стернового. «Впереди,- сказал бригадир,- самый трудный участок реки, всем надо глядеть в оба». Но как ни глядели, все же посадили крайний плот на камни, едва сдернули его к обеду. За эти часы он сумел выкроить несколько минут, чтобы наведаться за будку, и у него всякий раз недобро сжималось сердце – Олечке было плохо. Как на беду, по обе стороны реки проплывали пустые таежные берега, тянулись дикие откосы, и над ними высился дремучий лес. Человеческого жилья нигде не было видно. Бригадир видел его горе и, похоже, сочувствуя ему, сказал: «В конце недели приедем в Мезу, там есть амбулатория, может, снесем туда девочку». Как избавления Хведор ждал, когда появится эта Меза, ждал два дня и две ночи, ни на минуту не сомкнул глаз, не прилег. То ворочал стерном или багром, то бегал по шатким плотам к будке, Олечке становилось все хуже. На третий день она уже не узнавала его, только просила отогнать птиц, и он удивился: каких птиц? Потом понял: она бредит. На следующую ночь умолкла, совсем успокоилась и тихо покинула этот мир. Как светлая маленькая птичка, навсегда отлетела в небытие ее чистая детская душа.

До полудня она лежала все там же, на тряпье за будкой, и они не знали, что делать. Наконец бригадир, выломав из пола будки три доски, велел Кравцу сколотить гроб. Тот и правда сколотил – небольшой продолговатый ящичек, в который положили остывшее тело Олечки. Ну а где хоронить? Кругом вода, плоты не пристают к берегу, что будешь делать? И бригадир надумал немного подать задний плот к мели на повороте (совсем остановить эту громадину было невозможно) и по отмели снести гробик на берег. Хведор спрыгнул с плота, ему передали гробик, и он, стоя по грудь в воде, принял его. Пока выбирался на сушу, несколько раз окунулся в воду, едва живой вскарабкался на обрыв и огляделся. Всюду стеной стоял лес – ели и пихты. Человеческого жилья по-прежнему нигде не видать, в одном месте на обрыве зияла глубокая промоина, и рядом с ней образовался ровный голый мысок. На этот мысок он перенес гробик и принялся копать могилу. Рыл каменистую землю долго и трудно, не сдерживаясь, дал волю слезам. Жизнь отняла у него последнюю радость, единственное его утешение, и Хведор думал; чего еще ждать от нее, что она может отнять еще? После всего, что с ним приключилось, собственная жизнь потеряла всякую цену, он не дорожил ею, она стала обузой. Но что было делать? Повеситься? Утопиться? Он мог бы тогда бежать, но не хотел подводить бригадира и, наспех закопав дочку, берегом бросился вниз по реке.

Поздно вечером догнал плоты и долго еще не мог глядеть на Роговцева, содрогаясь при одном только звуке его голоса. И не мог понять, как это другие, и бригадир Кузнецов тоже, держат себя с этим человеком так, будто у них ничего не случилось. Или они ничего не понимали? Или, может, боялись его? Или еще что? Но Хведору все же сочувствовали. Кравец, тихо охая, качал головой. Бригадир же упорно молчал, казалось, ни о чем другом и не думая, кроме своих плотов. Когда наконец пришли в Котлас и сбывли на лесной бирже свой караван, бригадир вроде смягчился, стал разговорчивее. Однажды воротясь вечером в их хибарку, незаметно кивнул Хведору и вывел его за угол складского строения. Там никого не было, и он тихо спросил: «Справка нужна?» «Какая справка?» – не понял Хведор. «Как какая – держи! – зло бросил Кузнецов, оглянувшись, и сунул ему в руки сложенный квадратик бумажки. – Берег для себя, но вижу, тебе в самый раз будет», – добрее закончил он.

Хведор взял справку на имя какого-то Зайцева Андрея Фомича, которая и правда вскоре ему пригодилась. Он был бы от души благодарен бригадиру, если бы не та цена, которую он за нее заплатил. Эта непомерная цена мешала его благодарности, и он порой думал, что в сравнении с загубленной детской душой все остальное ровным счетом ничего не стоит.

В разрывах туч над полем холодно и ярко светила луна, косо бросала на могилы изломанные тени крестов. Поодаль же, под соснами, лежал непроницаемый мрак, широкой тенью достигавший кладбищенского края над выгоном. Но поблизости все было отчетливо видно – каждый крест и каждый могильный холмик, И только когда луна опять скрывалась за тучей, все вокруг снова тонуло в темени; Хведор тогда как бы закрывал глаза и незряче стоял посреди могил. Вообще ему тут было покойно и радостно, он словно обретал оборванную общность с людьми и вел с ними молчаливый разговор обо всем – рассуждал, спрашивал, жаловался. Жаль, что не получал ответа, но он уже привык не получать ответа на свои немые вопросы, будто оглохнув за годы нелепых скитаний. В сонной задумчивости бродя по кладбищу, наткнулся на свежую могилу – на склоне, ближе к пригорку с соснами. Даже ночью бросались в глаза ухоженность и аккуратность этой любовно обложенной дерном могилки, обсыпанной вокруг свежим чистым песочком, в лунном освещении казавшимся совсем белым. Здесь же стояли два восьмиконечных креста – большой и перед ним поменьше, оба старательно выкрашенные белой краской. Рядом приткнулась маленькая, словно игрушечная скамеечка, на которую и опустился Хведор. Кто здесь похоронен, он не мог догадаться. Но, надо думать, не старик, не старуха – за могилами стариков так не смотрят. Может, это жена постаралась для любимого мужа? Однако баба вряд ли бы сделала все так мастеровито и добротнo. Тогда – муж для жены? А скорее всего родители для своего дитяти – это, пожалуй, самая верная из всех догадок. Но нигде не было никакой надписи –

безымянная могила, навек прописанная только в сердцах, близких покойному.

А у его Олечки, видно, уже не сохранилось и холмика... Длилась тихая лунная ночь. Под утро на кладбище стало холодновато, похоже, повернуло на заморозки, думал Хведор, понуро сидя возле неизвестной чужой могилки. Ему не хотелось уходить отсюда – как ни в каком другом месте он тут чувствовал себя почти в безопасности, тут ему было спокойно. Наверно, уже под утро закатилась-пропала луна, вокруг стало темно, как в склепе. К ночной тьме Хведор, однако, привык давно, тьма его не пугала, И он сидел, припоминал, думал. Жевал кислые клюквины, экономно выбирая из кармана по две-три ягоды. Незаметно для себя дремал. Как всегда, ночью стал докучать холод. К холоду он не мог привыкнуть, особенно под старость, на дрянных харчах, – страдал от него на войне, в ссылке, а теперь вот и дома. Видно, потому, что за жизнь ему довелось намерзнуться как никому другому: не умел согреться, как другие, хлопывая себя руками, приседая и топая. На холоде он терял свою подвижность и делался как деревянный, весь напрягался, сжимался – терпел. Так же как терпел голод, унижение, отчаяние. Немало лет все его усилия были направлены только на одно – перетерпеть. Он не взрывался, как некоторые, когда, казалось, терпеть невозможно, не возмущался скверной кормежкой, непосильной работой, людской несправедливостью – стискивал зубы, когда те еще были у него, - и терпел. Пожалуй, не было на свете такой каторги, которую бы он не научился претерпевать молча, И только одно было для него нестерпимым – тоска по родному краю, лесу, невзрачным лесным перелескам. Тут уж он не мог превозмочь себя: вся натура его всему вопреки рвалась домой, сперва только в мыслях, а потом вот и на деле, В первый раз не удалось, не повезло во второй. Зато достиг своего с третьего раза и теперь хотел, чтоб был покой на душе. Так что ему холод! Пожалуй, надо было уходить в лес, чтобы утром не попасться кому на глаза. Однако, разморенный дремотой, он медлил, тянул время, не спеша оставлять темное предутреннее кладбище. Спустя какое-то время заметил, что вокруг стало светлее, проступили из мрака сосны, ближние могилы, кресты, и он понял: светает. Краешек неба над лесом уже прояснился первым зачином дня. Хведор поднялся со скамейки. Появилась сумасбродная мысль именно сейчас, в самую рань, пока не проснулась деревня, тихо пройти по улице – кто знает, может, в последний раз, больше уж не придется. А теперь, может, его не заметят.

Узкой дорожкой между могил прошел через поредевшую тьму под соснами и спустился на деревенскую улицу. Стрехи домов, вершины уличных деревьев, садов только еще выплывали из мрака, улица и дворы лежали в сумерках, никли в предутреннем сонном покое деревенские хаты; серые сумерки ютились под их обвислыми стрехами, меж хлебов и дворовых строений. Хведор тихонько прошел до середины деревни. На кольях ограды утренний ветерок трепал пеструю с красными полосками тряпку, и Хведор подумал: однако быстро светает, похоже, он припозднился. Прибавив шагу, он шел обочиной улицы, мягко шурша в траве постоломи, с настороженной жадностью оглядываясь по сторонам – хотелось как можно больше увидеть и узнать, И вдруг его взгляд в недоумении застыл на неподвижном женском лице за тыном; устремленные на него глаза тоже округлились в немом удивленном испуге. Выражение, какое – и не поймешь, сразило его внезапной догадкой: Любка! И он остановился. Рядом, в двух шагах, была калитка, он резко толкнул ее от себя, не зная зачем, и та отворилась. Женщина секунду молча смотрела на него – не понять, узнала или нет, - сдавленно вскрикнула и бросилась к хате. Онемев от испуга, он стоял перед калиткой, пока не услышал, как стукнула дверь в хату, тут же громыкнул железный засов.

Боясь, что сейчас выскочат на крыльцо или увидят его в окно, Хведор вбежал во двор и по росистой свекольной ботве огорода пустился в рассветное поле. Никто его не догонял и даже не окликнул сзади. Все в нем мелко дрожало от неожиданной встречи с Любкой, с которой они вместе росли в деревне, работали рядом на отцовских наделах, в которую он даже влюблен был перед призывом на военную службу. И обидно было ему, и горько... Должно быть, испугалась женщина и едва не погубила его. А может, и не узнала, приняла за ночного вора, грабителя? И неудивительно – разве узнал бы себя он сам? Что в нем осталось

от прежнего наивного молчаливого Хведора Ровбы? Теперь он – больше привидение, чем человек, ночной бестелесный призрак, от которого в ужасе шарахаются люди, место которому только с волками в лесу...

## Глава четвертая РАДОСТЬ ЗЕМЛИ

Когда рассвело, он уже был в лесу, растерянно брел истоптанной скотом стежкой, приглядываясь, где бы приткнуться на дневку. Наверно, сюда снова пригонят скот – места ему тут не будет. А где тогда будет? Конечно, подальше от жилья и людей, поля и сенокосов. Значит, опять тащиться на вырубку или в дальний и мрачный ельник, на болотные мшаники. Поразмыслив, все же решил: лучше-на вырубку. Там, правда, опаснее, чем в ельнике, зато в той стороне картофель, надо наведаться, Как всегда, с утра засосало под ложечкой, хотелось есть. Клюкву он почти всю съел ночью, клюква плохо утоляла голод, вот пить после нее не хотелось. Надо идти за картошкой.

В эту раннюю пору, наверно, можно было не бояться случайной встречи в лесу, и он версту или больше шел хорошо утоптанной стежкой, замысловато петлявшей в молодом березняке. Стежка свернула в сторону зимних делянок, он пошел к Долгому оврагу. Миновав перелесок с редкими елями, устало поднялся по пологому склону вверх. В лесу уже развиднелось, светло как днем; вокруг тихо дремали ели, не шевелился ни один листок на тронутых желтизной березах. Кажется, погода установилась, скоро, наверно, начнет подмораживать. Тогда враз почернеет ольха, золотом засветятся березы, дружно зашелестит листопад. Пройдет еще время – и лиственный лес станет сквозным для взгляда, все живое в нем будет далеко видно. Тогда ему станет худо... Но Хведору не хотелось думать о том, что будет, он жил одним днем, дальше ближайшего вечера он не заглядывал. Вечером, конечно, будет поспокойнее, а днем держи ухо востро.

Кажется, в том самом месте, где и в первый раз, он осторожно спустился кустарником в широкий провал оврага, напился из ручья, умыл лицо и руки. Поднимался на противоположный склон долго, останавливаясь и отдыхая, не впервые чувствуя, как убавилось сил. Совсем недавно, в дороге, слабости не примечал, должно быть, им двигала великая сила цели. А тут... цель – позади. За долгие дни скитаний ослаб без хлеба, ягодами сыт не будешь. Так что же – снова идти в деревню, просить хлеба краюшку? Чем это кончится? Тревожила недавняя встреча с Любкой – не раззвонила бы по селу. А может, и не узнала, раз закричала так жутко?...

Когда выбрался из оврага, долго не мог отдышаться. Потом углубился в лес, нашел вроде бы место – между двумя кустами орешника, сомкнувшимися верхушками. Прежде чем лечь, обшарил со всех сторон ветки – нет, на его беду, орех тут не уродился, не разживешься. Правда, на полянках в траве попадались грибы – сыроежки и волнушки,- изредка выглядели красные шапочки мухоморов, и он подумал, что скоро, видно, дойдет очередь до настоящих грибов. Но больше его мысли занимала картошка, пока она еще в поле.

С картошкой у него был связан один малоприятный случай в германском плену – теперь смешно и вспоминать о нем. Но иногда вспоминалось, наверно, потому, что горькое и смешное в пережитом всегда рядом. Первые полгода плена Ровба просто доходил на вареной брюкве, которой их впроголодь кормили на чугунолитейном заводе в Руре. Потом судьба смилостивилась, и он попал к бауэру. Это был пожилой немец по имени Еган, два сына у него воевали на русском фронте, дома оставались невестка и два внука-подростка. Земли же у Егана было гектаров двадцать, и, чтобы обрабатывать ее, бауэр взял шестерых батраков из числа русских пленных, солдат генерала Самсонова. В общем, у бауэра Хведору было неплохо, кормили по-человечески, хотя работать заставляли помногу, без выходных и праздников. И они работали как черти, как волы, управляясь со всеми работами в поле, на гумне и даже по дому. У Егана был заведен твердый, словно в казарме, порядок, за которым следил сам хозяин усадьбы, служивший когда-то фельдфебелем, о чем он без конца



напоминал пленным, а на поле командовала невестка. Она на ладном буланом жеребчике носилась по полям, высматривая, где что не так, кого наказать, а кого похвалить. Хозяин заботился о них и воспитывал весьма своеобразно, видно, на свой, фельдфебельский, лад. Как-то оштрафовал кухарку – переложила мяса в котел с супом, за недобросовестность в работе лишил митага (обеда), позавтракал утром – и хватит с тебя. Однажды, когда пленный туляк Белошеев пожаловался хозяину, что другой пленный украл у него портсигар, герр Еган, особенно не вникая в дело, наказал обоих. Он приказал батракам сцепить левые руки, как при рукопожатии, а правой рукой шлепать другого по ушам, приговаривая: «Гутен морген – гутен таг». Все батраки, а также кухарка, дети и хозяин с невесткой сидели на крыльце и глядели. Поначалу было даже забавно, как двое русских вроде бы лениво, вполсилы тузили друг друга, но очень скоро их пришлось разнимать, потому что разошлись чуть не до крови.

В пять утра ежедневно они вставали по звонку дежурного, тщательно застилали одеялами свои топчаны, пили кофе с повидлом и хлебом и строились на работу. В обед им давали по миске супа, кашу с куском мяса, хлеба полагалось по фунту на человека. Спали на чистом белье, которое старая кухарка меняла каждую субботу, по субботам же мылись под теплым душем в пристройке. Белошеев, с которым подружился Хведор, не мог нарадоваться на свою военную судьбу, говорил, что дома не спал в такой чистоте и не ел так сытно, как в этом плену. А работа, что ж,- к крестьянской работе им не привыкать. И пожалуй, все, в общем, было бы неплохо, если бы не Руди, четырнадцатилетний внук старого Егана.

Этот гаденыш Руди, наверно, не помышлял ни о чем больше, как только устроить какую-нибудь пакость русским. То он подопрет вилами дверь в уборной, когда кто-нибудь из них займет ее, то спрячет чересседельник, когда надо запрягать лошадь, то подставит под хвост кобыле кувшин из-под кваса. Однажды он тайком вынул шкворень из груженной картофелем фуры, и когда Хведор тронулся с места, фура свалилась с передка и картошка рассыпалась. Пока Хведор, чертыхаясь, собирал картошку, этот Руди нагло ржал в огороде. Хведор вышел из себя и огрел его кнутом через изгородь, приладил фуру и, ничего никому не сказав, уехал в поле. Вечером, возвратясь во двор, увидел на крыльце старого хозяина, покрасневшую от гнева Герду и этого гаденыша Руди с кровавым шрамом через всю щеку. Старый Еган тут же учинил следствие. Хведор пытался оправдаться, но его никто не слушал. Невестка что-то гергекала про гауптвахту, свекор же сказал, что гауптвахты не будет. Он не может допустить, чтобы в страдную пору его работник сидел, в кутузке на дармовых харчах или лежал на топчане с поротой розгами задницей. Он накажет его позором: завтра Фэдэр отправится на работу без штанов («венигер альс хозе»).

Сперва Хведор не понял: что за чудное наказание – без штанов? В одних подштанниках, что ли? Но оказалось, что не в подштанниках, а вовсе с неприкрытой нижней частью тела. Было нехолодно, пригревало весеннее солнце, но страданию Хведора не было предела. Все время он тянул и одергивал недлинный подол рубахи, тщетно стараясь прикрыть свой мужской срам, но прикрыть было невозможно – надо работать, нагружать фуры картошкой, таскать коши в поле. А кругом были люди, немцы и немки, их дети, подростки, девчата,- все с хохотом или ошалело смотрели на него, а он чуть не выл от обиды. Он едва дождался вечера того бесконечного дня и, добравшись до своего закутка, без ужина залез под одеяло. Какое это счастье – чувствовать, что твое тело скрыто от чужих глаз! Ему шел тогда тридцать первый год, он был женат и думал, что худшего унижения нельзя и придумать. Но прошло время, посыпались другие унижения, в сравнении с которыми изощренная выдумка герра Егана казалась нелепой шуткой - не больше.

Глотая голодную слюну, Хведор скрючился под кустами на реденькой мелкой траве, втянул голову в мятый-перемятый ворот, сунул руки за пазуху и так лежал. Глаза порой закрывал, не очень опасаясь что-нибудь прозевать – из-под кустов и так не много увидишь. Зато его слух, как всегда, был обостренно чуток. Даже во сне Хведор прислушивался, иначе как еще обезопасить себя в таком положении. Деревья слегка пошумливали совсем близко, но этот шум не нарушал привычной для Хведора лесной тишины; порой вспархивала в

кустах мелкая птаха, но и она не тревожила его покой. Постепенно и незаметно для себя он словно замкнулся от этого леса, выскользнул из своего времени, будто засыпая, увидел себя со стороны и, может, впервые осознал всю безысходность своего положения. Он увидел себя словно извне и невольно вздрогнул в полусонном удивлении – что с ним? В самом деле, почему он неприкаянно валялся здесь, в двух верстах от места, где впервые увидел свет, где прожил взрослую свою жизнь, где родились его дети? Почему он стал презренным для всех чужаком, ненавистным изгоем, кто в том повинен? Он сам или кто другой? А может, никто? Но как же тогда все это стало возможно? Чего ради надо было, получив землю, потерять все, сделаться изгнанником, беглым каторжником, человеком без прав, вне закона? И откуда все началось? Сколько он ни думал о том – как и с чего началось, – вразумительного ответа найти не мог. Наверно, потому, что началось все незаметно, нелепо и неожиданно, а обернулось именно тем, чем обернулось. Мог ли он предвидеть все в тот зимний морозный вечер, когда сидел в сельсоветской хате и председатель Сокур вынес на обсуждение головоломный вопрос: на кого распределить три твердых задания, которые он привез из райисполкома? Нелегкое это было дело для членов сельского Совета, в состав которого входил тогда и Ровба. В те годы он числился середняком – у него было двенадцать гектаров земли. Было в деревне несколько хозяйств побогаче, у некоторых было по четырнадцать и пятнадцать гектаров. Но что это были за гектары? Змитрок Бедута, к примеру, имел шестнадцать гектаров, но оставался бедняк бедняком, потому что работать на земле было некому: двое сыновей не вернулись с войны, сам был старый и немощный. Его надел в дальней пойме у реки за время войны, революций и гражданской войны сплошь покрылся кустарником и только на бумаге числился пашней. Но где-то все-таки числился, и Змитрок первым в деревне получил квиток на твердое кулацкое задание. Хведор же не допускал и мысли, что его когда-либо может постигнуть такая же судьба, Хоть и жил вроде не хуже других, но какой он кулак? Одна лошадь, две коровы, овцы, кабанчик – считай, как у всех в Недолище. Правда, у него были гуси, плавали в пруду, где огороды кончались. Тек ручей из болотца, как-то весной они с сыном загатили русло возле мостика, натекла неглубокая лужа, так и осталась. Но надо думать, не из-за гусей же его зачислили в кулаки и тем сгубили жизнь.

Сгубила жизнь молотилка. Проклятая молотилка, зачем он с нею связался!... Молотил бы, как прежде, цепами, не так уж много было тогда жита, чтобы за зиму не обмолотить его на току в три цепа. Так нет, захотелось, чтоб культурно, чтоб молотилкой...

Мысль о молотилке подал ему сын Миколка. В ту пору это был уже бойкий и рослый парень, осенью ждал призыва в Красную Армию и ходил в секретарях местной комсомольской ячейки. Когда он стал секретарить, в хате появились газеты и брошюры, кое-какие интересные журналы. «Безбожник», к примеру. Обычно сын весь день был занят делами, а читал ночью при лампе и назавтра утром самое интересное подсовывал батьке – то статью про налог и самообложение в «Белорусской вёске», то выступление товарища Сталина насчет оппозиции, то брошюру наркома Прищепова о культурном ведении сельского хозяйства. Хведор читал, не все понимая, но главное все же схватывал. Да и сам видел: жили действительно плохо, бедно, малокультурно, хозяйство вели неправильно. А как вести правильно? Наверно, чтобы правильно вести хозяйство, одних знаний мало, нужны деньги, инвентарь, удобрения. Именно чтобы больше получить удобрений для своих гектаров, он завел вторую корову. Вырастил телушку, хотя молока для семейства и от одной было вдоволь. Года за четыре до того, может, самый первый в деревне купил в Полоцке новенький фабричный плуг, окрашенный в приятный васильковый цвет, с точеными дубовыми ручками. Справный оказался плужок, одно удовольствие было пахать им, далее соседи просили попробовать. Потом такие плуги купили еще несколько мужиков. Плуги всем нравились.

Как-то поздним осенним вечером приходит домой Миколка. Усталый, голодный, по колено в грязи, оказывается, был на каком-то важном совещании в районе. Мать скорее миску на стол, он немного поел и говорит; «Батька, давай купим молотилку. Есть такая возможность – через потребкооперацию. Плата в рассрочку». Хведор ответил не сразу,

подумал. Конечно, совсем бы не худо молотилку, он уже видел такую в соседней деревне, там несколько хозяйств сложились и купили. Говорили, хорошо молотит, очень довольны были мужики. И лучше, чем цепами, и быстрее. Однако... Будто чуяло его сердце, чем это может обернуться. Он уже знал по опыту, что новое и небывалое в крестьянской жизни часто соседствует с дуростью или обманом, и надо хорошо подумать, чтобы не попасть впросак. Так он и сказал сыну, а тот в ответ засмеялся: какой же обман от молотилки? За неделю все обмолотит, не придется всю зиму цепами махать. Оно так, думал Хведор, да все молчал, сомневался. Утром, когда Миколка побежал по своим комсомольским делам, осторожно посоветовался с Ганулей, и тогда порешили: купить. Пока не перехватил кто другой из чужой деревни.

Молотилку приволокли через день после Покрова, Помог шурин Томаш, долго налаживали под поветью привод с деревянными дышлами и железной зубчатой передачей. Отложив свои комсомольские дела, помогал и Миколка, который тоже кое-что понимал в новой крестьянской технике. Наконец все наладили и опробовали машину. Ну, конечно, никакого сравнения с цепами – и быстро, и намолот другой. Правда, народу требовалось больше, чем на току; развязывать перевясла, подавать на стол, затем – машинист, самый главный человек при молотилке, двое – отгребать зерно и убирать солому. И еще погонять коней по кругу. Человек шесть, не меньше, требовала для себя та молотилка. Да все оправдывалось. Молотили толокой, хозяйствами двумя или тремя сразу, как когда получалось. Хведор никому не отказывал, подбирались кто с кем хотел, а платили кто сколько мог. В зависимости от намолота, конечно. Все по уговору, разве он эксплуататор для своих сельчан? Впрочем, он готов был молотить и даром, если бы не нуждался в деньгах, – все же молотилка стоила недешево и, хотя взяли ее в кредит, плату следовало вносить каждый квартал. До Рождества обмолотились все соседи и некоторые из его родни. Даже привозили из соседних сел. Всем молотил Ровба.

Недолго, однако, прогрохотала на току его красная молотилочка. В начале следующей осени пришел тот самый сельсоветский председатель Сокур, с ним еще какой-то усатый хлыщ из района и опечатали ток. Оказывается, Ровба допустил эксплуатацию, нетрудовой доход. «А как же теперь? Что будет?» – спрашивал Хведор. «Что будет, то и будет», – туманно ответил усатый, застегивая потертый портфельчик. Оба, не оглядываясь, пошли со двора, а он остался у ворот, уже чувствуя, что это – не потеря молотилки. Это – начало много худшей беды, когтистым вороном закружилась она над его хутором. К тому времени Миколки уже не было дома, месяца два как призвали на военную службу, отправили на дальневосточную границу. Прислал оттуда первое письмо – в восторге от службы «в непосредственном соприкосновении с японскими самураями», Хведор скупо написал о здоровье, и все. О молотилке ни слова. Пусть сын служит спокойно.

А в Недолище невеселые дела заварились. Нашлись завистники вроде Зыркаша, который написал на него в Полоцк – мол, обирает крестьян. Но разве он обирал? Он даже не назначал платы. Впрочем, его ни о чем не спрашивали, только, распределяя твердый налог, вспомнили молотилку, и Сокур сказал, что будет по справедливости обложить твердым Ровбу, который на молотьбе кое-что заработал. Хведор не знал, как ответить: коротко он не умел, а долго объяснять не было возможности. И вышло так, что заработал Ровба или нет, но в деревне другой молотилки не было, и твердый налог вlepили ему по закону. Закона же в его защиту не предусматривалось.

Сколько раз потом Хведор твердил себе: на кой черт она сдалась ему, та молотилка? Лучше бы, как все, молотил цепами, имел бы какой-никакой хлеб и свой угол, и не было бы тех несчастий, какими с дьявольской выдумкой начала преследовать его жизнь. Хотя, пожалуй, ничто уже его не спасло бы, молотилка была только зацепкой. Так, если тяжело нагруженный воз станет крениться на косогоре, то, как ни хватайся за него, опрокинется, одна сторона перевесит. Молотилка была последним довеском, который опрокинул и без того накренившийся воз жизни Ровбы. Потому что его уже поместили, как помечают шkodливую скотину в стаде, какая-то особая мета появилась возле его фамилии в сельсовете

или, может, в районе. Твердый налог – семьдесят пудов жита – он кое-как уплатил, хотя подчистую вымел хлебные сусеки в амбаре, вывез все до первого марта, как и предписывала бумага. Голодно стало на хуторе, нечем было засеять яровой клин – осталось пуда два ячменя да полмешка овса. И он не знал, то ли покупать остальное, то ли одолжить у кого. Но покупать нужны были деньги, а денег у него не было. Он ничего еще не придумал, как принесли новый, еще более твердый налог – восемьдесят пудов хлеба и сто рублей деньгами. Тогда он сказал себе: рехнулись они там, что ли, где он столько возьмет? Ходил в сельсовет, ездил в район к знакомому секретарю Теребильникову, который вместе с Миколой недавно работал в комсомоле,- жаловался, унижался, просил. Не помогло ничего, сказали: не уплатишь в срок, опишем хозяйство, «в том числе дворовые строения и скот». Погоревал пару дней и стал бегать по родственникам своим и жены, хоть сколько-нибудь зажиточным людям в своей и соседней деревнях – просить денег. Но все будто одеревенели, оглохли, никто не хотел понять его беды и никто ничего не дал. Конечно, в то время каждый думал о том, как выкрутиться самому, потому что бумажки с твердым налогом уже замелькали не только в Недолище, но и в других селах. И он кинулся продавать молотилку, объявил о том по знакомым и даже на базаре в местечке. Да никто не покупал, не поинтересовался даже. Пришлось распродать скотину – обеих коров, всех овец и подсвинка. Конечно, был дурак; не понимал, что зря это, что не спасет его и квитанция о полном расчете. Ничто уже, видно, не могло спасти Ровбу, помеченного поганым и страшным словом «кулак».

В те заполошные дни, бегая в поисках денег, встретил в местечке Ноэма, старого еврея, с которым когда-то имел дело, заходил в его жатку под липой, когда покупал молотилку. Большой дружбы у них никогда не было, но Ноэм мог дать в долг и даже подождать, если долг не выпадало вернуть вовремя, или вместо денег принять яйца, масло, а то и пару мешков картошки. Всегда деловой и подвижный, Ноэм растерянно брел по местечковой улице, будто ничего не видя вокруг. Хведор деликатно поздоровался, они разговорились, и оказалось, что у Ноэма также серьезные нелады с властью. Когда Хведор пожаловался на свою беду, старый еврей взял его за пуговицу и сильно привлек к себе: «Я тебе скажу: бросай все, бери детей в охапку и утекай. Куда? Не важно куда – куда глаза глядят. Потом поздно будет... Это тебе говорит Ноэм! Я все бросил и вот с этой котомкой иду на станцию. Я тут больше не житель! Я беженец! Ты послушай меня, Хведор!»

Нет, Хведор тогда не послушался: как это все бросить? А земля, хозяйство? И куда податься? Здесь его корни, свои, деревенские,- как он может уехать куда-то в бесприютный, неведомый свет?

Он прожил в Недолище еще месяцев десять. Безрадостной была эта жизнь, бесхлебица и пост надолго поселились в его обедневшей хате. Сам Хведор, сжав зубы, еще крепился, а Ганулька часто плакала, особенно по утрам, когда принималась готовить и надо было что-то засыпать в чугунок, покласть на сковородку. За молоком для Олечки ходили в деревню к Лёксе или к Гречихиным. Те сочувствовали, переживали его беду как свою и чем могли помогали. Помнится, как он наведился тогда к Цыпрукову Змитеру, который третий год был должен ему тридцать рублей. Задолжал еще с молотбы, а не отдавал, и Хведор долго не решался ему напомнить – как-то неловко, будто он требовал не свое, а чужое. Зря, однако, не послушал Ганульку, которая, глядя, как он собирается вечером к Змитеру, сказала: «Не ходи! Пусть они сгорят, те тридцать рублей, если он такой человек бессовестный». Должно быть, действительно бессовестный, даже наверняка так, думал Хведор, но ведь у самого невыкрутка, как не пойдешь? Пошел и, конечно же, получил дулю. Не было денег у Змитера или решил не отдавать – кто его знает, только нехороший вышел у них разговор, и Хведор, воротясь домой, угрюмо молчал до утра. Оно, может, и ничего особенного, может, как-нибудь и обошлось бы без тех трех червонцев, если бы этот Змитер не состоял в активистах комбеда. Когда началось самое страшное – раскулачивание, – именно он и подсказал раскулачить Хведора Ровбу. Как лишенца и твердозаданца. Что ж, его послушались, Хведора сослали. Провели классовую борьбу в деревне, а тридцатка так и осталась за Змитером, пусть пользуется на здоровье. Хведору не жалко денег, только еще горше от того стало на белом

свете.

Где-то в небе светило нежаркое осеннее солнце, вершины елей поодаль тихо светились в его косых лучах. На еловых ветках вверху грелись вороны, порой перелетая куда-то, может, на соседние ели. Внизу же, под орешником, стыла волглая тень, было зябко, в Хведор ворочался с боку на бок, чтобы не очень застужаться от земли. Он немного вздремнул – час или больше, и снова стал донимать голод. Тянуло на поле за картошкой, и он сел под кустом, думал. Может, там все уже убрали, люди с поля ушли, что-нибудь да найдется. Какой-нибудь десяток не вырванных из земли картофелин – наверное, это не будет кражей. А если и кражей, то не очень большой, колхозники ему простят. Все же они взяли у него больше – чего стоит одна усадьба. Да и молотилка тоже. А ему понадобилось от них всего-навсего полведерка картошки. Не так уж и много.

Поднялся, побрел меж кустов орешника, забрался в заваленный хворостом молодой осинник, едва выбрался из него. Немного задержался в зарослях высокого, в рост человека, малинника, на ветвях которого кое-где чернели сухие, исклеванные птицей ягоды, и он собирал их по одной, ел. Ягоды противно хрустели на зубах и были безвкусными, утратив всю летнюю сладость. К концу дня вышел на опушку где-то в стороне от картофельного поля и понял, что чересчур взял вправо, краем леса следовало идти обратно. Прошел, должно быть, с версту или больше, когда услышал поблизости чей-то негромкий ворчливый голос. Затаившись в кустах, украдкой поглядел вперед. Невдалеке, удерживая на веревке черную корову, медленно брел по опушке сгорбленный, в рыжем армяке старик. Корову тянулась за травой в кусты, и пастух временами беззлобно ворчал на нее, Хведор пристальнее всмотрелся из зарослей, стараясь угадать, не знакомый ли кто. Но нет, старик вроде был незнакомый, должно быть, из дальней деревни. Можно было обойти его лесом, но у Хведора вдруг появилась мысль: а если попросить хлеба? Если старик пасет корову с утра, то, возможно, прихватил в карман хлеба, может, и ему дал бы кусок. Очень хотелось хлеба.

Набравшись наконец решимости, он вылез из кустов на край озимого поля и пошел к пастуху. Тот уже мог слышать его шаги, но, занятый коровой, вроде не обращал на него внимания. Подойдя совсем близко, Хведор сдержанно поздоровался. На него глянули выпцветшие глаза старика, лицо заросло, наверно, как и у Хведора, седой щетиной. Старик подслеповато морщился, разглядывая незнакомца и не отвечая, и Хведор поздоровался снова.

– Да чую, чую, – сказал наконец пастух, шамкнув беззубым ртом. – День добрый, ну.

– Корову пасете?

– Корову, а кого же? Не коня же. Коня уже не пасу. Отпас. А сами откуда будете? – спросил Хведор и умолк. Это был важный для него вопрос: может дед его узнать или нет?

– Да вон из Ушатов, – сказал пастух и впервые внимательно посмотрел на Хведора. Убогий вид его, однако, как показалось Хведору, не удивил пастуха – тот сам был одет не лучше. Хведор вздохнул с облегчением – в дальней деревне Ушаты его знали немногие.

– Может, закурить имеете? – неожиданно спросил Хведор и не узнал своего голоса, таким он стал жалким и немощным. Курить ему совсем не хотелось – он давно уже отвык от курева, но не хватило решимости сразу попросить хлеба.

– Ёстика, – сказал старик и пошарил в глубоком кармане своего армяка. – Во самосеечки трошки имею. Тольки запалить нема чем.

– Запалить, может, найдем, – сказал Хведор, однако пожалев, что завел этот разговор о куреве: следовало беречь спички.

Они молча свернули из обрывка желтой газеты по небольшой сигарке, и Хведор дрожащими пальцами осторожно чиркнул спичкой. Так же осторожно прикурил сам, потом уже смелее дал прикурить старику.

– В колхозе будете? – спросил Хведор, когда они затаились по разу. От этой затяжки у него закружилась голова, и он слегка пошатнулся. Старик опять с подозрением оглядел его.

– В калгасе, а как же... Теперь все в калгасе... А как же...

– А что – единоличников не осталось?

– Единоличников? – прищурил один глаз пастух. – А сам адкуль будешь? Сдалёк?

– Да я... нездешний, – соврал. Хведор. – К родне иду.

Черная корова подалась за куст, сильно потянув веревку, увлекая за собой старика. Хведор пошел следом.

– А там, в вашей стороне, разве остались единоличники?

– Да нет, знаете...

– И у нас не осталось, – сокрушенно заметил старик. – Которые в калгас не хотели – вывезли. Которые досля и захотели – тожа раскулачили и выслали. Кулаки, подкулачники, – словно жалуясь, бормотал пастух, идя за коровой.

– Ну а как же в колхозе? Богато живется?

– Богато! С вяликодня до Ильи траву ели. От Ильи почали помалу бульбочку копать. Да что на Илью, какая там бульбочка! Орехи!

– Вот как?

– Ну. А ты что, не знаешь? Или у вас там не было голода? – Старик уставился на него укоризненно-вопрошающим взглядом.

– Да как вам сказать? Был...

– Ну. Одного и спасенья, что коровка. Молочко! Да и сдать надо. Двести литров, И мясо и яйца. И шерсть и овечек. Зимой осмалили подсвинка. Так штрафу дали пятьдесят рублей.

– За подсвинка?

– Ну. За шкуру. Шкуру ж надо сдавать. А у вас разве другие порядки?

– У нас? Да как вам сказать? Строго, однако, может, не так, – почти растерялся Хведор, не зная, как ему ответить. Он в самом деле не знал, как было в других местах – так же, как здесь, или по-другому. Его уклончивый ответ старик понял по-своему.

– Наверно, нигде так не погано, как в нашем раёне. Негодное киравництва, негодные люди, разве так можно: за какую недоимку – остатнюю корову. А малые? Как им без молока? Помруть, Сколько их померло за лето, и старых и малых. Во, шатаюсь но лесу с этой. – Он выразительно дернул веревку. – Чтоб не отобрали. Бо займу платить нема чем. А в хате трое малых. Бяда!..

– Беда, – растерянно повторил Хведор. Ему еще ни с кем не пришлось беседовать о здешних порядках, чтобы узнать, как живут его земляки, старик был первым. И Хведору захотелось расспросить его поподробнее, но было боязно – как бы старик не заподозрил чего. Все же он был тут чужой.

– Бяда, ну.

– Может, надо жаловаться? Бумагу кому написать? – осторожно посоветовал Хведор.

Старик криво ухмыльнулся всем своим заросшим лицом.

– Кому жаловаться? Начальникам? Так они же у нас как зверуги. Приедет который...

Вунь этот Ровба: все матюгом да пагрозой. Сибирью пужает...

Хведор вдруг почувствовал, как закачалась под ним земля и косо поплыло куда-то поле.

– Ровба?

– Ну, Ровба. Теперь же он партийный сакратар. Малады, а будто какой тивун! От батьки отказался. Батьку его раскулачили в Недолице, так отказался, говорили, фамилию собираются поменять, чтоб, значит, ни духу...

Казалось Хведору, он медленно падал на землю, а та все плыла, уходила из-под ног. Он уже плохо слышал, что еще говорил старик, который, видно, жаловался на жизнь и порядки в районе. Хведор его не слышал. Он так был ошеломлен внезапной вестью о сыне, такой душевной болью поразила его эта новость, что он перестал ощущать себя. Больше ни о чем не мог спрашивать, только отрешенно смотрел на широкий простор озими, за которым на пригорке виднелись стрехи недалекой деревни. И молча побрел вдоль опушки. Хлеба он так и не попросил... Он уже не мог ничего просить, плелся, как побитый пес, и думал: зачем он притащился сюда, зачем заговорил с этим стариком? Лучше бы он ничего не знал ни о

здешней жизни, ни о сыне. Жил бы, как прежде, своими бедами, которые годами носил в себе. Зачем прибавлять новые? Как их все уместить в исстрадавшейся душе, как с ними жить?...

Хотя какая там жизнь...

В полном безразличии к лесу, полю, забыв об осторожности и ни разу не оглянувшись, он отошел от старика с коровой подальше, углубился в лиственный лес и без сил опустился в редкий высокий папоротник. То, что он услышал про сына Миколку, показалось несуразницей, не укладывалось в голове, и он все старался что-то понять. Ладно, отказался от раскулаченного отца, зачем же так – к людям? И еще менять фамилию? Чем ему не подходит фамилия? Что же тогда останется от прожитого? С чем жить дальше? Что он скажет своим детям, если они появятся у него? Очень непросто было Хведору понять, как живет сын и как думает обо всем. Он не видел его семь лет. То, что он услышал о нем, было непонятно к немыслимо.

В детстве Миколка был мягкий послушный мальчишка, жалел животных. Как-то всю зиму держал под кроватью в клетке серую курочку, которая на дровоколье сломала лапу. Преданно любил мать и очень переживал, когда она заболела рожей. Подростком, наверно, с такой же преданностью полюбил комсомол. Может, не столько сам комсомол, сколько ту горластую, суетную возню, которой с воодушевлением предавалась молодежь – в темных, занесенных снегом деревнях, где долгие месяцы было так одиноко и тоскливо. Все что-то выдумывали, заседали, обсуждали и принимали резолюций. В их комсомольской ячейке особенно активничали Миколка и его одноклассник Шурка, единственный сын беднячки вдовы Михалины. Однажды они приняли резолюцию – всем снять образа. Конечно, сочинить резолюцию было легче, чем ее выполнить, поэтому для начала решили снять хотя бы в родительских хатах. Это было проще, хотя и не всем сразу удалось, некоторые из родителей просто пригрозили выпороть комсомольцев-безбожников. Хведор же отнесся к намерению хлопцев спокойно – подумаешь, образа! Правда, висят в углу, никому не мешают, но и пользы от них тоже нет никакой. А вот Гануля заупрямилась, не хотела снимать ни за что, и Миколке пришлось ее уговаривать с Рождества до весны. Все же добился своего, к Благовещению снимал образа и рушники с них, а на их место повесил в угол Портрет Карла Маркса. Рушников, однако, на портрет вешать не стал. С тех пор висел себе в углу бородатый человек, ни пользы от него, ни вреда. Миколка же был доволен, ну и ладно.

И тут под весну комсомольский секретарь случайно дознался, что в хате его друга Шурки остался один образ, висит в покути. Миколка собрал комиссию из трех человек, и они пошли к Шурке обследовать. Оказалось, так оно и есть: образ архангела Гавриила спокойно висит себе, где и висел всегда. Михалина, Шуркина мать, плачет, не дает снимать, и Шурка ничего поделать с ней не может, такой оказался мягкотелый комсомолец. Миколка повел себя круто. Думали, он тут же скинет образ, но он образ трогать не стал, а созвал комсомольское собрание и, невзирая на давнюю дружбу с Шуркой, поставил вопрос о пребывании его в комсомоле. Хведор несколько удивился неожиданному поступку сына и как-то вечером мягко упрекнул его. Сказал, что, исключив Шурку, не слишком ли сурово они обошлись со своим деревенским парнем. На это Миколка ответил с небывалой прежде суровостью в голосе: «Комсомол таких двурушников стирает в порошок!» «Ну-ну!» – снисходительно буркнул Хведор и отправился по хозяйским делам. На те проделки Миколки с образами он смотрел как на ребячье чудачество, успокаивал себя, что малый глупый, подрастет – поумнеет.

Выходит, однако, поумнел по-своему.

Немного в лесу успокоясь, Хведор стал рассуждать по-другому. А может, теперь так и надо? И дома и на поселении он достаточно насмотрелся на всяких людей и на всяких начальников, бывало, строгость их доходила до нелепой жестокости, и была одна цель – поиздеваться. Он уже понимал, что доброта, видно, там, где справедливость и правда. А где классовая борьба, непримиримость, где всякий, кто выше, что хочешь сделает с тем, кто ниже, – какая там доброта? Должно быть, вместе со временем и доброта канула в вечность,

на смену ей пришло что-то другое – жестокое и беспощадное. Его умник Миколка, видно, давно понял это, и если теперь он стал таким нетерпимым, значит, стать таким надо было. Особенно если не по своей злой воле, а из государственного интереса. Значит, иначе нельзя. А что отрекся от отца... обидно, конечно, и больно – да что делать? Может, он отрекся потому, что отец для него как бы умер и никогда ни о чем не узнает. Оно и похоже на то – для сына он действительно умер, если за столько лет ни письма не прислал, ни весточки никакой не подал.

И все же Хведору было обидно и больно.

В лесу стало смеркаться, и он поднялся из папоротника. Тело набрякло многодневной усталостью, затекшие ноги казались толстыми, словно бревна (может, опухли). Превозмогая слабость, он опять медленно побрел сквозь чащу к опушке, затем вдоль озимого клина свернул к полю с картошкой.

Солнце тем временем уже сошло с небосклона – скрылось за лесом, но небо над полем еще было полно его закатного света, и в этом светлом вечернем небе привольно плыли куда-то пышные белые облака. Как и предвидел Хведор, картошку на поле уже убрали, ни женщин, ни лошадей нигде не было видно, только вддали горбился единственный укрытый соломой бурт. Ну да бурт ему без нужды. Он немного отошел от края загона, разгреб пальцами свежую борозду, покопался в рыхлой земле. Нет, тут ничего не осталось, видно, все подобрали. Прошел дальше, в двух-трех местах разгреб землю, нашел перерезанную плугом половину картофелины. Поднял голову, огляделся – кажется, поблизости никого не было. Он взял немного в сторону, где густо валялась в бороздах картофельная ботва, подумал, что, возможно, там кое-что осталось. Порылся в нескольких местах и нашел четыре картофелины. Конечно, можно было подойти к бурту, набрать из него в карманы, но ему не хотелось слишком далеко отрываться от леса. Опять же – воровать колхозное?

Воровать он не хотел, он мог только взять брошенное, ничье, испокон веков это не считалось грехом. Теперь тем более. Торопливо порывшись в земле, нашел еще три небольших картофелины и оглянулся в испуге. От опушки в его сторону по полю широко шагали двое. Он все понял мгновенно, выпустил из рук картофелины и быстро припустил наискось к недалекому спасительному лесу. Те двое сразу свернули наперерез – один пожилой, в сапогах и ватнике, другой помоложе, тонкий и длинноногий, в надвинутой на лоб кепке. Хведор понял, что его дело – дрянь, кажется, он попался. И он изо всех сил пустился к опушке, все время забирая в сторону, чтобы опередить преследователей. Его постолы то и дело цеплялись за разбросанную по земле картофельную ботву, он едва держался на ослабевших ногах; четыре картофелины в кармане колотили по бедру. Шаг его, однако, от усталости становился короче, и он испугался, что не уйдет – догонят. Но неужели те двое и впрямь будут его ловить, как зайца в поле, неужто не остановятся? В какой-то момент ему удалось немного опередить их, он уже подбегал к березовому мыску на опушке, уже появилась спасительная надежда – а вдруг? Похоже, те припозднились опередить его, я тогда сзади слышался злой крик:

– Стой, кулацкая морда! Стой, говорю!

Хведор споткнулся от неожиданности: того, что его издали узнают, он не предвидел. Но если так кричат, то, конечно, узнали. Когда крикнули в третий раз, Хведор догадался, что это Змитер Цыпруков. Ах боже мой, не хватало еще попасть в руки этому злыдню, подумал Хведор, Охватившая его обида, однако, придала сил, он рванулся с последней надеждой и, ее оглядываясь, вбежал в березовый молодняк на опушке. В лесу он тоже бежал, правда, все медленнее перебирая ногами, потом немного прошел шатким усталым шагом и снова обессиленно трусил, стараясь подальше уйти от злосчастного поля. Его преследователи, кажется, в лес не сунулись, остались на опушке. И он долго еще брел редким низкорослым ельником, хрипло дыша и думая, что сегодня ему не повезло окончательно. Сегодня для него ни одного просвета за весь погожий солнечный день. Мало ему было узнать о сыне, так еще и Змитер... Но гляди-ка, выследил, почти захватил с поличным. Или он здесь сторож, или, может, какой начальник, если в рабочее время разгуливает по полям? Видно, все-таки



бригадир, догадался Хведор, это скорее всего. Но Змитер Цыпрукон бригадир – это даже смешно. Самый никудашный хозяин в деревне, у которого от бескормицы сдохла кобыла. За зиму съела соломенную стреху, и – не хватило. Тот самый Змитер, который за жизнь не научился плесть лапти, теперь работает здесь бригадиром, приумножает хозяйство. Правда, глотка у него всегда была крепкая, мог наорать на любого, это теперь, пожалуй, важнее всего. Как там, на поселении, так и тут, в колхозе,- наверное, одинаково...

## Глава пятая ОБЛАВА

Ночью поднялся ветер, лес застонал, глухо и тревожно загудели от напора ветра ели и сосны, нескончаемо лопотала мелкая листва берез, и Хведор обреченно ждал, когда польет дождь, В ту ночь он не пошел в деревню, он вообще больше не вылезал из леса, где давно уже обрел для себя убежище. Ненадежное, однако, убежище, но, видно, другого на этой земле для него не осталось. Всякий раз он выискивал для ночевки новое место, стараясь забраться подальше от людей, в самую глушь леса. Вечером, уходя от преследователей, уже в потемках упал на колючую землю в молодом ельнике и долго лежал без движения. Пробираясь дальше, наверное, не имело смысла, дальше начиналось болото, а главное – уже не осталось сил. Немного отлежавшись, сел, разрезал на дольки и без аппетита сжевал свои четыре картофелины. Больше еды у него не было, и он просидел ночь в ельнике, думал.

«За что все это навалилось на меня? Разве я так грешен перед людьми или Богом? Разве я кого убил, ограбил или обесчестил кого?» Всегда он старался как лучше, упаси Бог, чтобы кого обидеть, повод дать для упреков. Уважительно относился к власти, от души был благодарен ей за дарованную землю, за ее щедрость к недавнему батраку. Да и как же иначе? Ведь он советскую власть считал своей кровной крестьянской властью. Бывало, на сходках некоторые жаловались: того нету, того мало, нету мануфактуры, гвоздей, не хватает керосина, не купить сахара. Он говорил нетерпеливым: подождите, не все сразу. Советская власть, она не обидит бедняка, потому что бедняк и рабочий и есть эта самая власть. Да разве он сам это выдумал? Об этом он читал в газетах, слышал на собраниях от представителей властей. И он верил. Он готов был поверить всякому, кто говорил о власти хорошее, потому что получил подтверждение ее самой большой правды, какая только может быть в жизни и имя которой – земля.

Кто же обманул его? И обманул так жестоко, безжалостно, на всю жизнь?

Впрочем, обман для него был не в новинку, к обману он тоже привык за жизнь. Случалось, обманывали соседи, родня, односельчане.

Нередко обманывало начальство – и тут и на поселении. Обманывали товарищи по несчастью. Некоторым за их наглый обман он даже был благодарен.

...С севера обычно бежали весной, когда таял снег и просыпалась тайга. Хотя и скупа была весенняя тайга на пропитание, харчей никаких не имела (кроме разве ягод), но весной выше поднималось солнце, кончались морозы, убывала вода. А главное, начиналось время зеленой травы, дороги без следов – иди куда хочешь. В такую пору мало кто из ссыльных, разбросанных по лагерям и поселкам, не заболел мечтой о заветном – возвращении в родные места, где прожил жизнь и откуда был вырван силой. Однако тысячей километров тайги, бездорожье и безлюдье дарили отвагу не каждому. Тем более что кроме отваги надобно было железное здоровье, звериная сила, какой-то запас съестного, а они к весне едва волочили ноги. И все-таки мечта звала, будоражила и опьяняла, а опьяневший человек, как известно, способен на разное. На разумное и на дурное – в зависимости от характера и обстоятельств.

Бежать из приречного леспромхоза было нетрудно – трудно было одолеть тайгу. Многих ловили поблизости – на реках и дорогах, других хватили за сотни километров – на городских вокзалах, пристанях, снимали с крыш и тормозных площадок вагонов, отыскивали с собаками в штабелях пиломатериалов на железной дороге. Пока на руках у Хведора была

больная жена и маленькая дочка, он и робкой мысли не допускал обрести свободу ценой разлуки с ними. Но потом, когда остался один... Лишь изредка думал об этом, чтобы тут же забыть. Решимости у него, конечно, не доставало, о сокровенных мечтах он никому не рассказывал. Он вообще был там молчалив и замкнут, своих людей рядом не оказалось, а с чужими надо было держаться осторожно – мало ли что! Да и не нравились многие – жесткие, крикливые, бесчестные. Многие открыто пренебрегали им, забитым, малограмотным белорусом, он видел это и не обижался. Действительно, чем он для них был? Кому он мог быть полезен? И он привык к своей незначительности, неприметности, в друзья никому не навязывался, к нему тоже никто особенно не лез с дружбой. И Хведор даже удивился, когда однажды на пару слов его позвал один человек.

В сырое туманное утро их бригада заготавливала бревна в запани – предстоял большой сплав, участок старательно готовился к нему, Хведор катал бревна сперва по лежакам на площадке, потом вкатывал наверх штабеля, когда к нему тихо подошел Угорь. Он был ссыльный, как и все они, но не из числа раскулаченных, а из какой-то другой категории. В ссылку он прибыл из Воркуты, там на шахтах отбывал срок по какому-то уголовному делу, выбился в начальники, да вскоре проштрафился. На участке держался с важностью, перед начальством не лебезил – знал себе цену. Порой даже вольничал: мог позволить лишнюю минуту на перекур, опоздать на развод, всегда имел свой табачок, и начальство не слишком к нему придиралось, вроде даже потворствовало ему. Наверно, знало за что.

Возле штабеля этот Угорь оглянулся, прислушался, поблизости никого не было, и тихо спросил: «Хочешь домой?» Хведор смешался, сразу не поняв, о чем это он, и Угорь кратко объяснил: «Есть возможность, будешь третьим, понял?» Мало что понимая, Хведор стоял молча, словно пришибленный. Конечно, домой он готов был лететь на крыльях, на брюхе ползти. Но как? Какая у них появилась возможность? Хотя, наверное, появилась, раз добрый человек предлагает... «Значит, лады? – спросил Угорь, – завтра становись к крайнему штабелю».

На следующее утро Хведор так и сделал – стал на работу возле крайнего от леса штабеля. Сделать это было нетрудно: обычно рабочие избегали становиться на край площадки, куда катать бревна было и дальше и труднее, чем к средним штабелям. В этот раз Хведор храбро стал перед бригадиром и оказался в четверке, наряженной куда требовалось. Там же был и Угорь. С показным усердием они принялись катать толстые бревна. Но как только бригадир скрылся с глаз, Угорь кивнул Хведору и бочком-бочком подался с площадки.

Хведор с замирающим сердцем бросился следом.

Бежали вроде удачно, их никто не задержал возле поселка, может, и не заметили даже. В ближнем распадке к ним присоединился третий – одноглазый верзила по фамилий Скакун. Как понял Хведор, это был старый дружок Угря, и они в первый же день отмахали по тайте верст сорок. Обычно в тех местах ездили по замерзшей реке зимой или берегом реки летом, но теперь берегом не выпадало – на берегах всюду кишела вохра и милиция. И они подались кружным путем, по тайге. Угорь с дружкой припасли к побегу немного харчей: несколько килограммов муки, десятка три сухарей, которые по очереди несли в проштемпелеванной казенной наволочке. В пути и на отдыхе всем распоряжался Угорь. Хведор был благодарен ему, отлично понимая, что Угорь мог выбрать другого, помоложе и посильнее. Похоже, от неожиданного доверия к себе он вырос в собственных глазах и старался во всем угождать Угрю, – то подальше пронесет продукты, то подежурит у костерка, когда дружки позаснут рядом, всегда собирал для огня валежник, ходил за водой. Как-то возле ручья, в распадке, где они сушились после дождя, расчувствовавшийся Хведор поблагодарил Угря за его доброту, и тот лишь хитро сощурился: «Я же сразу усек, что сильно домой хочешь». «Спасибочка вам огромное, век буду помнить...» «Потом отблаговаришь, красненькими», – осклабился Угорь, но осклабился по-хорошему. Вообще с Хведором он держал себя как с ровней, может, чуть снисходительно, но, в общем, вполне по-товарищески.

Казалось, и в самом деле он был неплохой товарищ – по справедливости делил на

троих скудные их припасы, имея спички, сам по утрам разводил костерок и определял маршрут, в пути всегда шел впереди, В тайгу, как мог понять Хведор, он попал не впервые и отлично ориентировался в ее пугающих дебрях. Куда им предстояло идти, Угорь не говорил, и Хведор ни о чем не спрашивал, целиком полагаясь на знания и опыт товарища. Действительно, разве бы он в одиночку отмахал за неделю две сотни верст без дорог, по незнакомым лесам и увалам? Это потом, наученный горьким опытом, он стал кое-что понимать в непростых секретах побегов, а в тот свой первый побег был дурак дураком, как солдат-первогодок.

Попались они случайно и глупо, тут не было вины ни Угря, ни кого-то еще. Вечером возле холодной таежной речушки набрали на пустую охотничью избушку, зашли, надеясь чем-нибудь поживиться, но ничего пригодного не нашли. Ночевать там не решились, отошли за километр и уже в потемках, не разведя костерка, усталые, легли рядышком на мягком мху в ельнике. На рассвете их и подняли под дулами двух винтовок. Потом оказалось, что накануне возле избушки их заметил здешний охотник, сбегал по соседству за братом, и они вдвоем накрыли беглецов. Все произошло неожиданно, вдруг, будь у них чуть больше времени, может, и выкрутились бы из этой беды. А так не успели они опомниться, как пришла подвода" и их связанными отвезли на лесоучасток, оттуда – на пристань, в местную комендатуру вохра. Братья-охотники, наверно, получили свое за свой неохотничий труд, а их положение стало хуже, чем до побега. Хведор сильно переживал неудачу, просто почернел лицом, все время молчал, даже отказался от хлеба, который вечером бросили им в каталажку. С Угря сошла его обычная невозмутимость, и однажды он зло буркнул: «А тебе чего киснуть? Радоваться надо!» «Как радоваться?» – не понял Хведор, «А так! Что кабаном не стал». «Каким кабаном?» – не мог понять Хведор «Не знаешь каким? Вот и радуйся, что не узнаешь».

Хведор, однако, так ничего и не понял. Какой кабан и какая радость? Только потом, когда попал в пекло похуже – на торфоразработки под Сыктывкарком,- разговорился как-то с ушлыми зеками, спросил, что значит «кабан», и у него потемнело в глазах. Оказывается, так называли простака, которого, подбив на побег, потом съедали в тайге, когда кончались припасы. Это и был кабан.

А он все это время был благодарен Угрю. Он просто его полюбил – за доверие и доброту. Так заботливо опекал Угорь своего кабана. Когда Хведор узнал правду, он думал, что возненавидит своего спутника, но, странное дело, ненависти не получалось. Было иное чувство – что-то вроде сожаления. Та сокрушающая неудача перевернула Хведора – он познал волю. Крохотный ее глоток не утолил жажды, но заронил надежду, и, куда бы потом ни забрасывало Хведора, в какие бы условия он ни попадал, он жадно присматривался к обстановке и людям, думал, прикидывал все с единственной целью – бежать.

Но вот он достиг того, к чему так стремился, преодолел невозможное – и теперь дома, А что дальше? Куда отсюда бежать? Идя умереть голодной смертью в лесу?

А может, это ему наказание Божье? За образа, которые он молчаливо позволил Миколке вынести из хаты? Сперва Ганулька припрятала их за дымоходом на чердаке, но Миколка нашел, вытащил и разбил об угол амбара. Мать заплакала, а Хведор не знал, как к тому отнестись. Вроде и жаль было святых, с которыми прошла жизнь поколений, но опять же – есля сын поступает так не по злобе, а по велению власти... В то время Хведор считал, что власть не может ошибаться, что в Москве или в Минске сидят умные, образованные люди, которым доподлинно известно, есть Бог или нет и как с ним поступить в интересах народа. Он же, имея за плечами всего две зимы церковноприходской школы, в вопросах религии мало что смыслил и думал, что окончивший семь классов сын разбирался в ней больше.

Однако Бог покарал его, а не сына. Сына он наградил вроде.

А если покарает и сына?

Время в лесу, наверно, перевалило за полночь, когда пошел дождь. Слякотную морось ветер волнами гнал по лесу, порой густо осыпая ельник, укрыться от ее мокроты здесь было

негде. Надо было поискать старые ели, но в лесу царил непроницаемый мрак, и он никуда не пошел. В такую ночь добрые люди по лесу не ходят, уныло размышлял Хведор. Время от времени дождь затихал, переставал вроде, изрядно, однако, намочив траву, еловые ветви, голову и плечи Хведора. А затем начинался снова. Хведор не поднимался с насиженного места и не ложился на мокрую землю, сидел сгорбившись, подрагивая от стужи. Было сыро, неудобно, но он немного отошел душой – все-таки ночью, в дождь можно было не опасаться. С нарастающим беспокойством он ждал рассвета, не зная, куда податься днем, где добывать съестное. Да и вообще... Чувствовала его душа, что этот день принесет еще большие хлопоты. Как бы не принес беды...

Под утро дождь перестал. Ветер все не стихал, порой даже усиливался, стряхивая влагу с мокрых веток, и в лесу казалось, что дождь продолжается. Над вершинами деревьев невесть куда неслись серые тучи, небо так и не приподнялось над ельником – безрадостное небо ненастного осеннего дня. В этот рассветный час где-то поблизости, всполошив утреннюю тишину леса, начали кричать вороны. Смутная тревога исходила от их неумолчного крика, и Хведор, прислушиваясь, с раздражением думал: какого черта они расходились? Хотелось встать, пугнуть их, но не было сил для того, после несчастной ночи клонило в сон, и он сидел погруженный в унылую полудрему. Мало-помалу рас светло, вблизи стало хорошо различимо сплетение еловых ветвей, сухое, торчащее из комлей сучье, мокрая, густо усыпанная хвоей земля. И вдруг поодаль в ельнике откуда-то появился заяц. Повертев туда-сюда ушастью головой, присел на задние лапы, передними старательно отер усатую мордочку. Хведора он не замечал вроде, и тот на минуту замер, чтобы не испугать серяка. Наверно, не узнав человека, заяц спокойно проскакал мимо и скрылся за можжевельником.

А вороны все надрывались вверх – преследовали кого или просто ссорились между собой? Должно быть, и у них нелады, думал Хведор, как и у людей. Хотя такая вражда, как у людей, вряд ли еще бывает на свете. Вороны подерутся, покричат и разлетятся, через минуту забыв о сваре. Человек же обид не забывает, а враждовать может всю жизнь. Лютое все же существо человек.

Может, так бы он и просидел весь день в ельнике, здесь было хотя неприятно и мокро, но, в общем, спокойно, если бы не голод. От голода болезненными спазмами сводило желудок, щемило под ложечкой, и он все ломал голову: где раздобыть поесть? Знал, в лесу ничего найти невозможно, разве что грибы. Грибов можно было насобирать, особенно на мшанике возле болота. Но сырыми грибы не съешь, а разводить костерок он уже не решался. И его мысли все чаще стали обращаться к деревне, к груше на краю леса. Ее подгнившие плоды, кажется, остались для него единственно доступной едой, ничего другого поблизости найти не удастся.

Он промок насквозь, пока выбрался из ельника, – каждая задетая им ветка осыпала его пригоршней холодных капель. В лесу было холодно, знобко. Но что делать – надо было терпеть. Не привыкать ему было сносить мокрядь и стужу, если бы научиться так же сносить еще и голод. Но одолеть чувство голода, видно, не дано никому: ни животному, ни человеку. Голод – жестокий господин надо всеми.

Хведор медленно пробирался лесом, выбирая голые, без подлеска места, обходя стороной мокрые заросли. Почему-то с недоумением подумал: какой же сегодня день? Он давно уже потерял счет дням и не отличал будней от воскресенья. Хотя что ему воскресенье? Недавнее воодушевление от встречи с родными местами безвозвратно минуло, ощущениями его все сильнее завладевало давящее предчувствие беды. Он еще не давал себе отчета почему – то ли вчера его сразила недобрая весть о сыне, то ли встревожила встреча на картофельном поле. Или еще что? А может, этот вороний гвалт, который все разносился в утреннем мокром лесу? Все-таки что-то не поделило меж собой воронье, думал Хведор, вслушиваясь в неясные звуки леса.

Его и в этот раз не подвел обострившийся за время лесных скитаний слух. Еще не дойдя до опушки, где росла груша, Хведор уловил неясные звуки поодаль, кто-то там был, и

он насторожился, замедлил шаг. Сквозь кустарник уже виднелись зеленые пятна озими, столбы на дороге, серый, поросший бурьяном обмежек. Как раз на этом обмежке невдалеке от груши стояли два мужика: один, бережно сложив руки пригоршней, давал прикурить другому. Когда прикуривший поднял голову, Хведор узнал в нем Михалининого Шурку, исключенного из комсомола бывшего дружка Миколки. Его напарник стоял к лесу спиной, и Хведор не мог разглядеть, кто это. Закурив, они оба повернулись в сторону, откуда доносился невнятный разговор, и Хведор из-за куста тоже посмотрел туда. Вдоль поля простирался длинный изгиб опушки, и на ней он увидел человек шесть мужиков, стоявших шагах в двадцати друг от друга. Переминаясь с ноги на ногу, все чего-то ждали. Конечно, это были его односельчане, двое пожилых и четверо помоложе. Он всех их знал, В ближнем Хведор узнал Михася Майстренка, усадьба которого была напротив Хведоровой запруды, и они раза два поругались из-за гусей, учинивших потраву на Михасевом огороде. В отдалении от Майстренка топтался на обмежке худой, постаревший, с белыми висками под черным околышем картуза Лёкса Савчик – в длинном армяке, с пастушьим кнутом под мышкой. Боже, вот и увиделись, тоскливо подумал Хведор. Но почему они тут стоят, кого ждут? И его осенило: они собрались ловить беглеца. Разошлись редкой цепью, как на войне пли на зимней охоте на волка. Только на него пойдут без флажков. Потому что он не волк – он человек. С ним можно и попроще.

На ослабевших ногах Хведор потрусил в глубь леса. Все в нем дрожало от обиды, безысходности, предчувствия близкой беды. И ничего не поделаешь, ничего не скажешь в свое оправдание. Он мог только бежать, спастись, как зверь – не как человек. Человек не должен убегать от людей, потому что бегство – всегда унижение. Но, видно, кроме последнего унижения, ему ничего не осталось. Он – не человек.

В смешанном мелколесье пологого склона он повернул направо, в сторону большака и поймы, откуда с такой радостью прибежал три дня назад. Наверное, пока была такая возможность, надо было уходить из этого леса, лес для него теперь не убежище. Лес уже принадлежит им, и в лесу они постараются его поймать. Но нет, все-таки он им не дастся. Пока есть силы, он опередит их. Он не позволит им загнать себя туда, откуда с таким усилием вырвался. Туда он не вернется.

Хведор трудно бежал, почти не выбирая дороги, напрямую продрался через ольховую чащу, весь вымок с головы до пят. Позади, однако, было тихо, вроде за ним еще не гнались, и он торопился успеть. Успеть выскочить из леса на пойму, там вдоль речки была чужая, заречного района территория, может, там о нем еще не проведали. Ему совсем уже мало оставалось пробежать лесом, а там с опушки откроется вид на широкую лощину и большак. Но он задыхался, совсем изнемог и едва дотащился до опушки. Прежде чем выйти из леса, бросил взгляд на ложбину, там никого не было, потом взглянул на хвойный пригорок и тут же осел на землю. Под соснами на большаке стояли машины – три грузовые полуторки, и от них в сторону леса врассыпную двигались люди – может, человек тридцать, если не больше. Впереди по отросшей отаве лощины решительно шагал высокий человек в распахнутом черном плаще, он что-то говорил остальным, широким жестом указывая на лес – возможно, подавал знак рассыпаться цепью.

Моментально все поняв, Хведор круто повернулся и побежал назад в лес, Все-таки он имел маленький шанс на спасение, те только еще переходили лощину. Пока они поднимутся по склону, войдут в лес... Нет, он оторвется от них, он не даст им настигнуть себя. Только куда отсюда бежать – вот в чем загвоздка. Слева Недолище и цепь из его земляков, позади эти, из района. Все одеты в темное, не деревенское, значит, из района. Наверно, руководство и актив. Они позади. Справа от него ельник, а дальше – топи Боговизны, там не пройдешь. Так неужели выход для него впереди? Где поле картофельное и деревня, там он вчера встретил деда с коровой... Неужели там нет никого? Это было бы удачей, если бы только успеть добежать туда. Хорошо, что его не увидели – прежде увидел их он. Это обнадеживало. Только бы не подвели ноги. Бежать было трудно, донимала одышка, во рту набиралось горькой слюны, сплевывая, он не мог избавиться от ее горечи. Его плечи и грудь

под тяжелой мокрой одеждой обливал горячий пот, вспотело лицо, он то и дело отирал его рукавом. Оглядываясь, то бежал, то шел шатким неуверенным шагом, постепенно удаляясь от большака и от деревни тоже. Но выдержать нужное направление в лесу было непросто, похоже, он слишком взял в сторону, вплотную приблизившись к Боговизне. Поняв это, повернул чуть влево, чтобы вырваться из леса к картофельному полю. Главное для него было выскочить из обхватывавших его клещей облавы, пока они еще не сомкнулись. Появилась надежда, что он как-нибудь опередит преследователей. От тех, что из района, он вроде бы оторвался, а деревенские, наверное, только еще входят в лес. А может, и не войдут – поджидают его на опушке. Только бы ему добежать до картофеля.

Но сил оставалось все меньше, спотыкаясь, он лихорадочно ковылял по мокрой траве подлеска. Все время оглядывался – нет ли погони. Погони еще не видать, но сзади, от большака, уже доносились голоса – должно быть, там разошлись в широкую цепь. Голоса и выкрики становились громче, послышался лай. Но не вчерашней пастушечьей шавки, а, видно, пса покрупнее. Хведор побежал снова – тяжелой, обреченной трусцой, все время оглядываясь. Он весь был обращен к тому, что происходит сзади. Наверное, он упустил момент, когда надо было глянуть вперед, и за кустом можжевельника едва не столкнулся с зайцем. Широкими прыжками тот сигал навстречу, но, увидев человека, отпрянул в сторону и бросился назад – туда, откуда бежал. Тоже нет покоя, коротко подумал Хведор и остановился. Там, где исчез заяц, раздался злой громкий окрик:

– Стой! Стрелять буду!

– Куда ты – стрелять! Это заяц...

И там засмеялись молодым беззаботным смехом.

Хведор настороженно вытянул шею – впереди в желтой листве подроста мелькнули две зеленые фуражки, кто-то тихо прикрикнул издали, и они исчезли. Хведор смекнул, что и туда путь ему перекрыт: видно, от картофельного поля шли пограничники, их застава находилась в двух километрах за лесом. Но почему пограничники? Разве он шпион, диверсант или нарушитель границы? Или он сбежал из тюрьмы, где сидел за преступление? Он пришел в свой родной край, где родился и вырос. Где родились и прожили свой век его предки. Так почему пограничники?

Выходит, однако, он хуже шпиона. Потому что того ловят одни пограничники, а его обложили три цепи загонщиков; кроме пограничников еще районный актив и деревенские. Вот это волк! Вот это лесная дичь! Кто когда видел такую?!

На его счастье, кажется, никто еще из этой облавы его не заметил – опасность он замечал первым. Покамест ему везло, но долго ли продлится это везение? Наверно, все же заметят, он же не лесовик-невидимка. Правда, он хорошо знал этот край Казенного леса, но ведь и они лес знали не хуже, особенно его деревенские, думал Хведор, Теперь он бежал неизвестно куда, кажется, потеряв цель и все больше забирая в четвертую сторону – туда, откуда не выйти. В четвертой стороне был тупик, болотный край – Боговизна. Там трясина и топи, летом туда не сунешься. Туда и зверь не ходит, не то что человек. До самых морозов там потоп и погибель.

Так куда же ему податься?

Он уже не бежал – едва тащился краем темного ельника, путаясь постоломи в мягкой мокрой траве, И все прислушивался, стараясь понять, что происходит сзади, где всюду звучали голоса, слышался мощный голос собаки. Должно быть, цепи сошлись, упустив его. А может, они повернут обратно – к большаку и деревне, со слабой надеждой подумал Хведор и притаился за елью. Хоть бы дали отдышаться, а то горький давящий ком застрял в распаленной груди...

Отдышаться, однако, не дали.

Они уже были где-то поблизости, увидеть их ему мешали деревья. Впрочем, деревья скрывали и его тоже. Но вот он услышал оживленные выкрики, чей-то приглушенный голос: «Сюда, сюда – след!» – и понял, что ему от них не уйти. Их несколько десятков, мужиков и красноармейцев, они обложили лес с трех сторон, А он – один, Он вконец обессилен и не

знает, куда бежать, где спастись. Наверно, он бессмысленно пробежал последние свои метры. Впереди в ельнике что-то замельтешило в траве – это все тот же заяц. Сперва убегал от красноармейцев, а теперь, видать, от него. Но зачем – от него? Он сам был как заяц, даже, может, еще и похуже. Потому что заяц, наверно, спасется...

«Люди, за что же вы так? – звучал в нем отчаянный вопль, – Что я вам сделал плохого? За молотилку? Так какое от нее зло? Она же вам пособляла. Или я много взял для себя? Я же все отдал вам – берите! Только за что же меня так? Одумайтесь, люди!...»

Никто, однако, и не думал одуматься – его гнали, как гонят волка на многолюдной охоте. А он все ждал, что кто-нибудь остановится, крикнет: «Постойте, братцы! Что же мы делаем?!»

Никто не остановился, не сказал, и его гнали дальше.

– Ровба, стой!

Ну вот наконец.

С первых шагов своего нелепого побега он днем и ночью ждал именно этого окрика, и все же он прозвучал внезапно и страшно. Хведор не сразу оглянулся: там, между елей, мелькали темные фигуры людей – свои или красноармейцы, он не разглядел даже. Главное он понял – его увидали. Но и бежать ему больше некуда, должно быть, его долгий маршрут неотвратно кончился. Невероятный бессмысленный маршрут – за тысячи верст на родную землю. Неласково же она встретила своего сына, родная его земля!... Ну да Бог с ней, другого и быть не могло. Видно, такова судьба! Проклятая судьба, уготовила ему в такое время родиться крестьянином.

Кончился темный ельник, начиналась полоса мокрого болотного мшаника. Не останавливаясь, Хведор взбежал на него – толстый пласт мха угрожающе осел под ногами, и они по колени ушли в черную хлюпкую грязь. Лезть дальше, наверно, было безумием, но что теперь было не безумием? Впереди трепетали на ветру жухлые кисти камышовых зарослей, за ними высились пышно разросшиеся кусты лозняка и ольшаника, среди зеленых кочек тускло поблескивали черные окна бочажин. Отчаянным усилием выдирая из топи ставшие пудовыми постолы, Хведор пробирался все дальше. Скоро погрузился по пояс и, раздвигая телом плотный слой ряски, достиг крайних, поросших айром кочек. Некоторое время под ногами была какая-то опора – перевитое корневищами дно, но вот дно круто ушло в глубину, и он будто свалился с обрыва – шастнул с головой в мутную холодную бездну. Тут же, однако, вынырнул, потеряв шапку, и, чтобы не захлебнуться в вонючей жиже, ухватился рукой за осклизлый, тянувшийся с кочки корень. Тот не дал ему совсем погрузиться в воду, все-таки голова осталась на поверхности, и Хведор судорожно, жадно дышал.

За мшаником в лесу приглушенно звучали голоса, басисто лаяла собака – должно быть, загонщики сошлись в одном месте и остановились. Кажется, они потеряли его или, может, не захотели лезть за ним в холодную смрадную топь. До слуха отчетливо доносилось: «Здесь где-то бег...» – «Там он, в болоте».- «Гляди ты, куда сунулся!» – «Вылезет, никуда не денется, кулацкая морда!»

«Нет уж, не вылезу!» – в озлобленном отчаянии сказал себе Хведор, невольным движением тела колыхнув рваный слой ряски. Он все сидел по шею в воде, скрытый от берега камышом и кочкарником, а те, на берегу, видно, боясь трясины, даже не приближались к бочажине. Да и он, бывало, когда-то со страхом смотрел туда на обсаженное кочками, заросшее лозняком болото, ощущая почти суеверный страх при одном только приближении к нему. Теперь он сидел в нем спокойно и ждал. От холода деревенели конечности, внутри у него все сжалось в тугой болезненный узел. Он медлил, но, видно, долго медлить ему не придется, все скоро кончится. Тяжелая суконная свитка на плечах настойчиво тянула его вниз, пудовые постолы влекли в бездонную глубину бочажины. Видно, все-таки ему не хватало решимости выпустить из рук осклизлый лозовый корень и тихо в другой мир. словно бы он на «сто-то надеялся и часто, прерывисто дышал, как рыба, выброшенная на песок.

– Ровба, вылазь! – раздавалось близко, за камышами. – Вылазь по-хорошему!

Гражданин Ровба, от имени советской власти предлагаю сдаться...

Они там кричали, а он не очень я слушал их. Выбраться отсюда не было сил, да и желания тоже.

– Что-то не видать тут...

– Да там он! Вон след в тростнике...

«О люди, люди! За что же вы так! Люди...» – неизвестно к кому взывал в душе Хведор.

Однако они уже лезут. Хведор немного подвинулся к воде, снова качнув вокруг ряску, и повернул голову. Высоко поднимая ноги в прибрежной осоке, двое осторожно приближались к его бочажине. В руках у одного был длинный и тонкий шест – уж не собираются ли они ширять им в кустарнике, подумал Хведор. Отсюда он хорошо видел их, это были незнакомые парни, наверно, комсомольцы из района. Где-то за кустами неподалеку лениво подавала голос собака, но в трясину, кажется, ее не пускали.

Дальше не сунешься!

Давай, давай! Еще можно, – послышалось чуть в стороне, и от этих слов у Хведора сразу перехватило дыхание.

Он узнал этот голос – он узнал бы его и на том свете, потому что это был голос сына. Бедный Миколка, вдруг подумал Хведор, и ему лезть сюда! Однако, видать, не от сладкой жизни, наверно, заставили...

Те двое с шестом, кажется, потеряв беглеца, свернули немного в сторону, к самой чащобе лозняка, решив, что он там. Но он не был ни там, ни здесь – он здесь почти уже не присутствовал. Ему оставалось совсем немного – разве что взглянуть к проститься. Как только увидит сына, так и уйдет. На этом свете делать ему уже нечего.

Парни всю орудовали шестом в лозовых зарослях, а Миколка не появлялся. Бедный Миколка, что он переживает теперь, думал Хведор. Наверно, не по своей воле – заставили. Может, ему приказали? Какой-нибудь начальник повыше. Потому что, наверно, есть и над ним начальник, И послали его на поимку отца, от которого он отрекся. Если отрекся, то можно, видно, и ловить. Но если такое возможно, то как тогда жить? И для чего жить? Нет, жить на этом свете ему невозможно.

– Лещук, вон туда пырани!

Это – тоже Миколка, откуда-то издали твердым начальственным голосом, которого не знал прежде Хведор. Такой его голос он слышал впервые, и каждый его звук болезненным ударом бил в самое сердце. Счастливая Ганулька, она уже не увидит такого. И не услышит.

Тем временем зашуршало в соседнем лозовом кусте – конец тонкой палки насквозь пропорол густую листву. Значит, наступил черед и его кочки. Но, должно быть, они не успеют, он опередит их. Хведор зачем-то вздохнул всей грудью и выпустил из рук узловатый корень. Тяжелые ноги в неизносимых постолах сразу повлекли его в бездну бочажины, и он захлебнулся. Изнутри почему-то больно ударило в уши, в глазах все померкло.

Не дано было жить тихо, так хоть тихо умер.

Искали его долго, тыкали шестами в кусты и кочки, шарили в камышах у берега. Да так и не нашли.